

ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ИСКАЛ ПОНЕДЕЛЬНИК

РОМАН О ТОМ, ЧТО ДЕНЬ НЕДЕЛИ —
ЭТО СОСТОЯНИЕ ДУШИ



АЛЕКСЕЙ КОРНЕЛЮК

18+

Алексей Корнелюк
Человек, который
искал понедельник
Серия «Поиск себя», книга 4

*<https://litres.ru/74042321>
SelfPub; 2026*

Аннотация

Он всю жизнь ждал понедельника. Но однажды понедельник начал искать его сам.

Андрей Лаптев привык откладывать жизнь на потом: после отпуска, после выплат, после нормального сна, после разговора с бывшей, после того самого дня, когда наконец станет легче. Но в одну ночь он просыпается на полу с онемевшей рукой, разбитой кружкой рядом и напоминанием в телефоне: «Новая жизнь. День 1».

В тот же день ему приходится вернуться в квартиру умершего отца, где среди пыли, старых вещей и несказанных слов он находит тетрадь с одной фразой: «Начать в понедельник». Андрей в злости пишет туда вопрос: «Господи, в какой понедельник люди наконец начинают жить?» А утром получает ответ, которого там быть не должно.

Содержание

Глава 1. Четыре семнадцать	4
Глава 2. Бог с плохим почерком	35
Глава 3. Организм не резиновый	62
Глава 4. Кружка возле кровати	85
Конец ознакомительного фрагмента.	94

Алексей Корнелюк

Человек, который

искал понедельник

Глава 1. Четыре семнадцать

В четыре семнадцать утра Андрей Лаптев решил, что умирает, и первым делом обиделся. Не на смерть даже — смерть вела себя довольно сдержанно, стояла где-то в углу, не мешала, ждала своей очереди, как приличная женщина в поликлинике. Андрей обиделся на то, что умирать придётся в пальто. В старом чёрном пальто, которое он купил семь лет назад на распродаже и с тех пор ненавидел за то, что оно сидело на нём так, будто он не человек, а плохо набитый мешок с документами. Он лежал на диване, одна рука онемела, сердце било в грудь с таким энтузиазмом, как будто пытались выбить дверь ногой, во рту было сухо и мерзко, на щеке отпечаталась молния от воротника, а под рёбрами ходил маленький тупой страх, похожий на мышшь, которую заперли в консервной банке.

Он открыл глаза и увидел потолок. Потолок был белый, с серым пятном возле люстры. Пятно появилось ещё весной после того, как соседи сверху решили устроить у себя ма-

ленький потоп, но Андрей каждый месяц обещал себе вызвать мастера, сфотографировать ущерб, написать заявление, поговорить с управляющей компанией и вообще стать человеком, который умеет решать бытовые вопросы. В итоге пятно победило. Оно висело над ним, как герб его государства. Государства отложенных дел, просроченных квитанций, несказанных слов и мужика тридцати восьми лет, который заснул в пальто, потому что после работы сел на диван «на пять минут», а потом проснулся почти мёртвым и с кислым вкусом чужой жизни во рту.

Андрей попытался пошевелить левой рукой. Рука не ответила. Она лежала рядом с ним, будто принадлежала другому человеку, более спокойному и, возможно, уже покойному. Он дёрнул плечом, зашипел от боли и вдруг ясно, без всякой поэзии, представил, как его находят через три дня. Мать звонит, он не берёт. Бывшая жена пишет: «Ты опять пропал?» Начальник раздражённо спрашивает у отдела, где Лаптев, потому что макет презентации сам себя не согласует. Потом кто-нибудь вызывает участкового. Дверь вскрывают. И вот он — в пальто, на диване, рядом кружка с засохшим кофе, под столом носок, на телефоне сорок семь непрочитанных уведомлений, а на холодильнике магнит из Анапы, куда он так и не поехал, потому что «не время». Смешно. Умереть так, чтобы даже смерть выглядела как незакрытая задача.

Телефон лежал на полу возле дивана. Экран был тёмный.

Андрей потянулся к нему правой рукой, но не дотянулся, потому что живот, этот предательский мягкий мешок, в который он в последние годы складывал тревогу, булки, ночные обещания и жалость к себе, упёрся в ремень и остановил операцию спасения человечества. Он попытался перевернуться на бок, пальто хрустнуло, диван жалобно скрипнул, из-под подушки выпал чек из аптеки. Андрей сполз вниз, зацепился коленом за край пледа, ударился локтем о журнальный столик и смахнул кружку.

Кружка упала на пол не сразу. Сначала она катнулась, подумала, дала ему шанс, а потом всё-таки разбилась. В ней был кофе, который Андрей заварил три дня назад, забыл выпить, потом два раза собирался вылить, но каждый раз решал: потом, заодно помою всю кухню. Теперь кофе растёкся по полу тёмной лужей с какими-то хлопьями, похожими на доказательства того, что жизнь не просто проходит, а ещё и оставляет осадок.

— Прекрасно, — сказал Андрей.

Голос получился чужой. Тонкий, пересохший, обиженный. Голос человека, которого никто не просил рождаться, но теперь почему-то требуют вовремя сдавать отчёты.

Он дотянулся до телефона. Нажал кнопку. Экран не загорелся. Разряжен. Конечно. Ночью умирают только те, кто зарядил телефон. Ответственные люди. Люди, у которых на тумбочке стакан воды, таблетки в органайзере, чистые трусы на завтра и завещание в файле с понятным названием. Ан-

дрей же был человеком другого склада: он мог купить три зарядки, потерять две, третью воткнуть за диваном в такую розетку, куда без молитвы не доберёшься, и потом удивляться, почему жизнь с ним не считается.

Он пополз к розетке. Именно пополз. В тридцать восемь лет, в своей двухкомнатной квартире, среди крошек, чеков и разбитой кружки, Андрей Лаптев полз по полу к зарядке, как раненый солдат к последней радиостанции. Только войны не было. Были работа, ипотека на половину бывшей жизни, мать с её вечным «я же говорила», развод, два лишних подбородка в зеркале ванной и привычка откладывать всё важное на понедельник.

У розетки он застрял. Пальто мешало. Ремень давил. Сердце било быстро, но уже не героически, а как испуганный заяц в коробке. Андрей воткнул зарядку в телефон, приложил лоб к полу и стал ждать, когда появится хоть какой-то знак. Знак пришёл через минуту: экран вспыхнул, на нём возник белый яблочный значок, потом дрогнул, ожил, и первое, что увидел Андрей, было не сообщение от Бога, не вызов скорой, не заботливое «Как ты?», а напоминание календаря.

Новая жизнь. День 1.

Он смотрел на эти четыре слова и чувствовал, как внутри него что-то тихо, без шума, садится на пол рядом и начинает смеяться. Не радостно, нет. Так смеются люди, которые нашли в морозилке суп пятилетней давности и почему-то узна-

ли себя.

Напоминание он поставил вчера вечером. Точнее, не вчера. Он ставил его много раз. В январе, когда решил, что после Нового года станет собранным и подтянутым. В марте, когда врач на профилактическом осмотре сказал слово «давление» таким тоном, будто произнёс фамилию будущего убийцы. В мае, когда бывшая жена Света прислала ему фотографию их старых коробок и написала: «Разберёшь когда-нибудь?» В июле, когда он купил абонемент в зал, сходил один раз, перепутал шкафчик, вспотел от стыда и больше не вернулся. В сентябре, когда понял, что лето опять прошло мимо, а он ни разу не сидел у воды без телефона в руке. В ноябре, когда умер отец. После похорон Андрей вышел из крематория, закурил, хотя не курил уже девять лет, и подумал: всё, теперь точно. Теперь я начну. С понедельника. Потому что смерть отца, конечно, серьёзная штука, но не настолько, чтобы начать в четверг.

Он снял напоминание. Большим пальцем. Как будто убил муху.

Телефон тут же показал остальные радости цивилизации. Пять сообщений в рабочей переписке. Одно от матери: «Ты спишь? Позвони, как проснёшься. Мне нехорошо». Одно от Светы: «Андрей, завтра надо поговорить. Только без твоего обычного “потом”». И ещё одно, с незнакомого номера, короткое, официальное, будто его написал человек, у которого вместо крови ходит канцелярский клей: «Доброе утро.

Просим связаться по вопросу квартиры Виктора Сергеевича Лаптева. Срок освобождения помещения — до 30 числа».

Андрей моргнул. Сердце на секунду перестало изображать барабанщика из плохой рок-группы и провалилось куда-то в живот. Виктор Сергеевич Лаптев. Отец. Мёртвый уже семь месяцев, но по-прежнему умудряющийся портить утро. Даже не утро — почти смерть.

Он сел на полу, прислонился спиной к дивану и засмеялся. Смех получился короткий, злой, с кашлем. Он представил отца: тот стоит в своей серой рубашке, застёгнутой на все пуговицы, смотрит поверх очков и говорит: «Андрей, серьёзные дела надо решать вовремя». Отец любил слово «вовремя». Вовремя вставать. Вовремя платить. Вовремя молчать. Вовремя понимать, что никому твои чувства не интересны. Он так вовремя прожил всю жизнь, что умер тоже почти аккуратно: в больнице, в среду, после обеда, не доставив никому большого неудобства. Только оставил квартиру, долги по коммунальным платежам, коробки с барахлом и сына, который семь месяцев не мог туда зайти, потому что в коридоре всё ещё висела отцовская куртка.

Андрей поднялся. Не красиво, не как человек, который победил приступ и теперь решил жить. Он поднялся, держась за диван, ругаясь, наступил в кофейную лужу носком и чуть не поскользнулся. Рука постепенно оживала, покалывала тысячей маленьких игл, будто тело решило напоследок напомнить: я ещё здесь, идиот, но ты меня достал.

В ванной зеркало встретило его без сострадания. Зеркала вообще были единственными честными существами в его квартире, поэтому Андрей их не любил. В отражении стоял мужчина тридцати восьми лет с лицом сорокасемилетнего завхоза, которого жизнь застала врасплох в очереди за справкой. Волосы помяты. Под глазами тени. Щетина рыжеватыми пятнами, хотя в юности ему казалось, что он будет благородно темнеть, как актёры в старых фильмах. На щеке красная полоса от молнии пальто. Белая рубашка мятая. Живот выпирает с достоинством государственного учреждения.

— Ну что, красавец, — сказал он зеркалу. — Начинаем новую жизнь?

Зеркало промолчало. Умное.

Вода из крана шла сначала ржавая, потом холодная. Андрей плеснул себе в лицо, долго смотрел, как капли стекают по подбородку, и вдруг почувствовал не страх даже, а странную усталую ясность: если он сейчас вызовет скорую, его, может быть, заберут. Если не вызовет — он пойдёт на работу, потому что в девять тридцать совещание. И самое ужасное было не то, что он мог умереть. Самое ужасное было то, что, даже испугавшись смерти, он всё равно первым делом подумал о совещании.

Он набрал номер скорой, но не нажал вызов. Посмотрел на экран. Стер. Открыл поисковик и ввёл: «онемела левая рука сердце быстро что делать». Поисковик, этот великий доктор человечества, предложил ему инфаркт, инсульт,

паническую атаку, остеохондроз, невроз, смерть, банан при нехватке калия и форум, где женщина с ником Лисичка88 писала, что у её мужа было то же самое, а потом оказалось, что это позвоночник, но лучше провериться, потому что сосед умер.

— Спасибо, Лисичка, — сказал Андрей и закрыл страницу.

Он всё-таки записался к врачу. На вечер. Это был компромисс между желанием выжить и необходимостью оставаться идиотом.

К семи утра квартира приобрела вид места, где человек боролся с собой и проиграл по очкам. Кружку он собрал в пакет, кофе вытер старым полотенцем, которое когда-то было белым и мягким, а теперь выглядело как флаг капитуляции. Пальто повесил на стул, потому что до шкафа было далеко не расстоянием, а внутренней организацией. Потом стоял на кухне босиком, пил воду из банки, потому что чистых стаканов не было, и читал сообщение Светы.

«Андрей, завтра надо поговорить. Только без твоего обычного “потом”».

Он хотел ответить что-то лёгкое. Например: «Конечно». Или: «Да, без проблем». Или даже: «Я как раз умираю, может, перенесём?» Но писать Свете про смерть было запрещённым приёмом. Он уже однажды написал ей: «Мне кажется, я скоро сдохну от всего этого», а она ответила: «Андрей, пожалуйста, не используй смерть как способ не обсуждать

квартирату». Тогда он обиделся, потом понял, что она права, потом снова обиделся, потому что правда Светы всегда была похожа на укол тупой иглой.

Они развелись год назад. Тихо, без разбитой посуды и пёсен под окнами. У них даже развод был какой-то бытовой. документы, очередь, женщина в окне, которая жевала жвачку и сказала: «Подпишите здесь». Андрей тогда стоял рядом со Светой и думал, что должен что-то почувствовать. Разрушение. Свободу. Боль. Музыку. Но чувствовал только, что в помещении душно и от его рубашки пахнет чужим шкафом. Света была аккуратная, собранная, с волосами, которые даже в плохие дни выглядели так, будто их кто-то уважал. Она подписала быстро. Андрей расписался с третьей попытки, потому что ручка плохо писала. Вот так закончился их брак: не криком, не изменой, не сценой, а шариковой ручкой с пересохшими чернилами.

Он написал ей: «Хорошо. Давай вечером».

Света ответила почти сразу: «Не вечером. В обед. И не отменяй».

Он усмехнулся. Эта женщина знала его расписание лучше, чем он сам. В его жизни всё отменялось вечером. Вечером у него начиналась усталость, тревога, работа, голова, живот, погода, давление, внезапная необходимость полежать лицом в стену и подумать о том, как много он не сделал.

Он поставил чайник, но забыл включить. Намазал хлеб чем-то, что когда-то было хумусом, понюхал, решил не рис-

ковать и выбросил вместе с хлебом. Потом нашёл в холодильнике банан с чёрными пятнами, съел его над раковиной, как животное, которое стыдится своих привычек, и пошёл одеваться.

Перед выходом телефон снова пискнул. Незнакомый номер. Он прочитал сообщение ещё раз.

«Просим связаться по вопросу квартиры Виктора Сергеевича Лаптева. Срок освобождения помещения — до 30 числа».

До 30 числа оставалось двадцать девять дней.

Двадцать девять дней на то, чтобы зайти в квартиру отца. Разобрать вещи. Выбросить куртку. Найти документы. Поговорить с юристом. Закрыть долги. Подписать бумаги. Сделать всё то, что нормальные люди делают не потому, что у них есть силы, а потому что иначе жизнь начинает делать это за них — грубо, с пенями и чужими людьми в перчатках.

Андрей засунул телефон в карман, открыл дверь и остановился. На коврике лежал рекламный буклет фитнес-клуба. Яркий, блестящий, с улыбающимся мужчиной, у которого пресс выглядел как аккуратно разложенная плитка шоколада. На буклете было написано: «Начни сегодня!»

Андрей поднял его, посмотрел на улыбку человека, который явно никогда не спал в пальто, скомкал буклет и хотел выбросить в мусоропровод, но мусоропровод был на площадке справа, а ему нужно было идти налево к лифту. Он подумал: потом. Положил скомканный буклет на тумбочку

у двери и вышел.

Лифт ехал долго. В нём пахло мокрой собакой, дешёвыми духами и утренней ненавистью жильцов друг к другу. На девятом этаже вошёл сосед с мусорным пакетом и лицом человека, который тоже когда-то верил в себя, но потом женился, взял кредит и стал выносить мусор в тапках.

— Доброе, — сказал сосед.

— Угу, — сказал Андрей.

Они смотрели на двери. Две взрослые мужские фигуры, две биографии, два мешка с внутренним хламом, один настоящий мусорный пакет. Андрей вдруг подумал, что вся страна в семь утра выглядит именно так: люди едут вниз в железной коробке, пахнут вчерашним днём и делают вид, что это называется жизнь.

На улице было серо. Не трагически серо, не красиво-петербургски, не кинематографично. Обыкновенно серо, как суп в заводской столовой. Дворник скрёб асфальт с такой злостью, будто пытался стереть город. У подъезда женщина в пуховике ругалась с ребёнком, ребёнок плакал неубедительно, больше из принципа. Такси, которое Андрей вызвал, стояло у мусорных баков. Водитель смотрел на него через зеркало, когда Андрей сел на заднее сиденье.

— На Лесную, да?

— Да.

— Пробки будут.

— Конечно будут, — сказал Андрей. — Было бы странно,

если бы хоть что-то сегодня не было.

Водитель хмыкнул. Радио бубнило про курс валют, ремонт дорог и очередное важное совещание людей, которые никогда не сидели в этом такси в семь двадцать утра с онемевшей рукой и разбитой кружкой в пакете. Андрей смотрел в окно на город. Люди шли к остановкам, прижимали к груди сумки, жевали на ходу, курили, шурились, ругались по телефону, тащили детей, кофе, папки, лица. Все куда-то ехали. Все будто знали, зачем. Хотя, если присмотреться, никто не знал. Просто движение было убедительнее, чем правда.

Работа находилась в стеклянном здании, которое Андрей презирал за прозрачность. Стекло обещало честность, лёгкость, современность, а внутри сидели люди, которые ввали в таблицах, улыбались на совещаниях и называли усталость «ресурсным состоянием». На входе охранник кивнул ему с таким видом, будто впускал не сотрудника, а очередную единицу офисного кислорода.

— Рано сегодня, Андрей Сергеевич.

— Не спалось, — сказал Андрей.

Это была не ложь. Это была маленькая экономия правды.

В лифте офиса пахло кофе и дорогими куртками. На пятом этаже вошла Алина из отдела продаж. Она была из тех людей, которые даже утром выглядели собранными, как презентация для инвестора. У неё были гладкие волосы, тонкие запястья, стакан кофе с крышкой и лицо человека, который знает, где лежит паспорт.

— Андрей, привет. Ты видел правки от Романа Игоревича?

— Видел, — сказал Андрей.

Он не видел. Конечно, не видел. Ночью он умирал на полу, а правки Романа Игоревича, как и сам Роман Игоревич, могли немного подождать у дверей ада.

— Там надо срочно. Он сегодня злой.

— Он всегда злой.

Алина улыбнулась, но не по-настоящему. В офисе улыбки были как одноразовые бахилы: надел, прошёл, выбросил.

На рабочем месте Андрея ждали монитор, кружка с надписью «Лучший день — сегодня», которую ему подарили на корпоративе, и тринадцать непрочитанных писем. Он сел, открыл почту, и первое письмо было от Романа Игоревича: «Коллеги, по вчерашним материалам ощущение полной потери фокуса. Андрей, прошу к 10:00 дать внятную версию. Не черновик. Не поток сознания. Внятную версию».

Андрей посмотрел на слово «внятную». Оно было хуже мата. Мат хотя бы честный. А «внятную» — это когда тебя бьют линейкой по пальцам и называют это управленческой обратной связью.

Он открыл файл. Слайды расползались перед глазами. Буквы становились то слишком крупными, то слишком маленькими. Левая рука покалывала. В груди сидел старый знакомый комок, который обычно приходил перед совещаниями, разговорами с матерью и любыми попытками заполнить

налоговую декларацию. Андрей сделал глоток офисного кофе. Кофе был горячий и бессмысленный.

В девять пятьдесят семь он пошёл в переговорную. Там уже сидели люди. Роман Игоревич стоял у экрана, высокий, сухой, с идеальной бородой и часами, которые стоили как годовая аренда Андреевой уверенности. Он любил говорить тихо. Тихие начальники страшнее крикливых. Крикливый хотя бы показывает, где у него течёт. Тихий сидит сухой, ровный, и ты сам начинаешь думать, что виноват в его разочаровании.

— Андрей, — сказал Роман Игоревич, когда все расселись. — Давайте начнём с вас.

Андрей подключил ноутбук. Экран мигнул. Первый слайд открылся криво: заголовок съехал, картинка растянулась, цифра в таблице стояла не та. Он заметил это сразу. Все заметили. Даже кондиционер, кажется, стал дуть тише.

— Это финальная версия? — спросил Роман Игоревич.

— Это версия после ваших вчерашних правок, — сказал Андрей и тут же понял, что зря. В офисе нельзя произносить слово «ваших» рядом со словом «правок», если ты хочешь дожить до обеда.

Роман Игоревич улыбнулся. Вот этой тонкой улыбкой человека, который нашёл муравья на белой скатерти.

— Моих правок, — повторил он. — Интересная формулировка.

В переговорной стало тепло. Или Андрею стало тепло.

Или тело решило: сейчас мы умрём, но сначала воспоем.

— Я имел в виду, что вчера поздно пришли изменения, и...

— Андрей, — мягко перебил Роман Игоревич, — мы все устаём. У всех есть жизнь. У всех бывают обстоятельства. Но на выходе должен быть результат, а не биография процесса.

Хорошая фраза. «Биография процесса». Её надо было вышить на подушке и подарить каждому человеку, который когда-либо плакал в туалете бизнес-центра.

Андрей хотел сказать: у меня ночью немела рука, я думал, что умру, у меня отец оставил квартиру с долгами, бывшая жена разговаривает со мной как с просроченным платежом, мать пишет «мне нехорошо» так часто, что однажды я не поверю, когда ей действительно будет плохо, а вы, Роман Игоревич, со своей бородой и часами можете засунуть этот слайд себе в прекрасно организованную жизнь. Но он сказал:

— Я поправлю.

— К десяти уже надо было поправить, — сказал Роман Игоревич. — Сейчас мы просто фиксируем, что человек потерял форму.

Человек. Не Андрей. Человек потерял форму. Как будто он был котлетой, которую плохо слепили.

Кто-то опустил глаза. Кто-то сделал вид, что изучает телефон. Алина из продаж смотрела в блокнот. Андрей стоял у экрана и чувствовал, как краснеет шея. Именно шея. Лицо ещё пыталось держаться, а шея уже всё рассказала.

В ней была вся его жизнь: детский стыд, отцовское молчание, школьный учитель физкультуры, который называл его «пельменем», Светино усталое «ты опять обещаешь», материнское «ну кто тебя просил лезть», и вот это утро, этот кофе, эта рука, это слово «форма».

— Понял, — сказал Андрей.

— Что именно? — спросил Роман Игоревич.

Вопрос был ловушкой. В таких вопросах нет правильного ответа. Если скажешь много — оправдываешься. Если мало — тупишь. Если честно — увольняешься. Андрей посмотрел на экран, на кривой заголовок, на вытянутую картинку, на всех этих людей, которые сидели в дорогих креслах и делали вид, что обсуждают стратегию, хотя на самом деле присутствовали при маленькой казни одного уставшего человека.

— Что понедельник не задался, — сказал он.

Тишина была короткой, но сочной.

Кто-то прыснул. Не громко, почти беззвучно. Роман Игоревич перестал улыбаться.

— Остроумие оставим для курилки, — сказал он. — Продолжайте.

Андрей продолжил. Он говорил про показатели, аудиторию, воронку, динамику, хотя внутри него вместо мыслей лежала разбитая кружка и плавал старый кофе. Голос дрожал только первые две минуты, потом стал ровным, почти чужим. Он умел так. Всю жизнь умел. Внутри пожар, снаружи

мужчина в мятой рубашке объясняет слайд номер семь.

После совещания он вышел в коридор и пошёл в туалет. Кабинки были заняты. В раковине кто-то оставил мыльную пену. Андрей встал перед зеркалом. Офисный свет делал всех людей похожими на подозреваемых. Он открыл кран, подставил руки под воду и вдруг заметил, что пальцы всё ещё слегка дрожат.

Телефон завибрировал.

Света: «В 13:00. Кафе возле твоей работы. Не опаздывай».

Мать: «Ты почему не отвечаешь? Я всю ночь плохо спала».

Незнакомый номер: «Андрей Викторович, просьба не затягивать. По квартире вашего отца есть документы, требующие срочного подписания».

А потом, поверх всех этих сообщений, всплыло новое напоминание. Он забыл, что поставил повтор.

Новая жизнь. День 1.

Андрей посмотрел на экран, потом на своё лицо в зеркале и вдруг почувствовал такую злость, что даже испугался. Не на начальника. Не на Свету. Не на мать. Не на мёртвого отца. На эту фразу. На её наглость. На то, что она каждый раз приходит чистенькая, бодрая, с бантиком, будто не знает, в каком доме живёт.

Он нажал «изменить». Хотел удалить. Палец завис над экраном. Потом он стёр «Новая жизнь. День 1» и написал другое.

Не сдохнуть до вечера.

Сохранил.

И вот это, как ни странно, прозвучало честнее всего, что он говорил себе за последние годы.

В обед он пришёл в кафе на семь минут раньше. Не потому, что стал ответственным, а потому что после утреннего унижения в офисе не мог сидеть за столом. Кафе называлось «Мята», хотя пахло там жареным маслом, мокрыми куртками и человеком, который только что разогрел рыбу в общей микроволновке. Андрей сел у окна. Заказал чёрный чай. Официантка спросила, будет ли он что-то есть. Он сказал: «Потом». Сам услышал это слово и поморщился.

Света вошла ровно в тринадцать. В бежевом пальто, с папкой в руке, с лицом женщины, которая долго училась не спасать. Она увидела его, кивнула и подошла. Не поцеловала в щёку. Они давно перешли в категорию людей, которым поцелуй в щёку кажется лишней бюрократией.

— Ты плохо выглядишь, — сказала она, садясь.

— Спасибо. Я старался.

— Я серьёзно.

— Я тоже. Ночью почти умер. Но неудачно.

Света посмотрела на него устало. Не испуганно, не нежно, а именно устало. Как смотрят на человека, который опять достал из кармана свою любимую сломанную игрушку.

— Андрей.

— Что?

— Не начинай.

Он хотел обидеться. Уже почти начал. Внутри даже поднялся маленький адвокат с портфелем: «Уважаемый суд, мой подзащитный действительно ночью испытал приступ, имеет право на сочувствие и горячий суп». Но Света открыла папку, и адвокат сел.

— Я говорила с юристом, — сказала она. — По квартире твоего отца всё хуже, чем ты думал.

— Я не думал.

— Вот именно.

Он усмехнулся, но Света не улыбнулась. Она достала листы. Квитанции. Уведомления. Какие-то копии. Слова прыгали: долг, срок, наследство, освобождение, задолженность, имущество.

— Там накопились платежи, — сказала она. — Плюс спор по помещению. Я не буду сейчас объяснять всё вместо специалиста. Тебе надо поехать туда, найти документы, подписать доверенность или самому заниматься. Но у тебя месяц. Даже меньше.

— Почему ты этим занимаешься?

— Потому что половина писем почему-то приходила на старый адрес, где я ещё числюсь в каких-то документах. Потому что твой отец когда-то вписал меня в контактные данные. Потому что ты семь месяцев не открывал почту. Выбери любую причину, все мерзкие.

Андрей смотрел на её руки. У Светы были тонкие паль-

цы, короткие ногти без лака. Когда они жили вместе, он любил, как она держит кружку двумя руками. Ему казалось это домашним, почти детским. Потом эти же руки собирали её вещи в коробки. Тоже двумя руками. Аккуратно. Без истерики. Она вообще уходила из его жизни так, будто наводила порядок в шкафу: больно, но логично.

— Мне тяжело туда ехать, — сказал он.

— Я знаю.

— Не знаешь.

— Знаю, Андрей. Просто тяжело — это не план.

Он отвернулся к окну. За стеклом женщина в красной шапке кормила голубей, хотя на двери кафе висела табличка «Не кормить голубей». Голуби, в отличие от людей, плевали на инструкции открыто.

— Там его вещи, — сказал Андрей. — Куртка. Тапки. Этот дурацкий запах.

— У всех мёртвых остаются вещи.

— Спасибо за поддержку.

— Поддержка — это не всегда гладить по голове.

— А что же это?

Света закрыла папку и посмотрела на него прямо. Раньше этот взгляд приводил его в чувство. Потом стал раздражать. Потому что в нём было слишком много трезвости, а Андрей любил жить с небольшим внутренним перегаром — даже когда не пил.

— Поддержка — это иногда сказать человеку, что он семь

месяцев сидит на полу перед закрытой дверью и ждёт, что дверь сама исчезнет.

Он хотел ответить резко. Сказать, что она ничего не понимает. Что у неё новая жизнь, новая квартира, новые простыни, новый мужчина, наверное, тоже есть, какой-нибудь спокойный, с нормальными анализами и приложением для бюджета. Но вместо этого он спросил:

— У тебя кто-то есть?

Света моргнула. Даже не удивилась. Скорее устала ещё на один этаж.

— Вот это сейчас важно?

— Мне важно.

— Нет. Тебе больно. Это не одно и то же.

Он сжал чашку. Чай был уже холодный.

— Ты всегда так умела.

— Как?

— Бить в точку и делать вид, что это медицина.

Света вздохнула.

— Я не хочу тебя бить. Я хочу, чтобы ты наконец сделал хоть что-нибудь до того, как жизнь придёт с ломом.

— Уже пришла, — сказал он. — В четыре семнадцать.

Света посмотрела на него внимательнее.

— Что случилось ночью?

И вот тут можно было рассказать нормально. Про руку. Про сердце. Про страх. Про пол. Про кружку. Про то, как он полз к телефону и увидел своё идиотское напоминание.

Можно было сказать: Свет, мне страшно. Я правда не знаю, что со мной. Мне кажется, я не живу, а просто тяну время между будильниками. Но Андрей не умел так с первого раза. Честность была для него как холодная вода: он сначала долго трогал её пальцем, морщился, шутил, уходил, возвращался, а потом всё равно не лез.

— Да ничего, — сказал он. — Старость. Пальто. Кофе напал.

Света убрала бумаги обратно в папку.

— Завтра поедешь в квартиру.

— Завтра работа.

— Сегодня врач?

Он поднял глаза.

— Откуда ты знаешь?

— Потому что у тебя лицо человека, который наконец записался к врачу и уже ищет способ отменить.

Он рассмеялся. Настояще, коротко, без защиты. Света тоже почти улыбнулась, но остановилась.

— Андрей, — сказала она тише. — Я не твоя жена. Я больше не могу быть человеком, который помнит за тебя твою жизнь.

Эта фраза вошла не сразу. Сначала он услышал только «не твоя жена», хотя знал это год. Потом «не могу». Потом «помнит за тебя». И стало так неприятно, будто кто-то открыл окно в комнате, где он много лет хранил грязное бельё под видом философии.

— Я понял, — сказал он.

— Нет, — сказала Света. — Ты часто говоришь «я понял», когда просто хочешь закончить разговор.

Он опустил глаза. На столе лежала крошка. Маленькая, упрямая. Андрей раздавил её пальцем.

— Ладно, — сказал он. — Завтра поеду.

— Сегодня.

— Свет.

— Сегодня. После врача. Хотя бы возьми ключи и посмотри, что там. Не разбирай всё. Не геройствуй. Просто зайди.

Она достала из сумки связку ключей. На кольце висел старый брелок — пластиковый домик с потёртой крышей. Андрей узнал его. Этот брелок был у отца. Когда Андрей был маленький, он любил щёлкать дверцей этого домика, там внутри была крохотная пустота, куда можно было спрятать бумажку. Отец однажды сказал: «Не ломай. Это не игрушка». И всё. Обычная фраза. Обычный день. Но Андрей почему-то запомнил, как убрал руку, как стало стыдно за интерес к дешёвой пластмассе, как отец взял ключи и положил их на верхнюю полку, туда, где детскому любопытству не полагалось жить.

Света положила ключи на стол между ними.

— Ты можешь злиться на меня, — сказала она. — Это проще, чем ехать туда.

— Я знаю.

— Опять «знаю».

— А что мне говорить?

— Правду.

Он посмотрел на ключи. Пластиковый домик лежал крышей вверх. Пустой маленький дом. Смешно, Господи. Даже брелок у отца был лучше организован, чем Андрей.

— Я боюсь, — сказал он.

Света не сказала «не бойся». За это Андрей мог бы почти снова её полюбить. Она просто кивнула.

— Я тоже боялась, когда уходила от тебя.

Он поднял глаза.

— Меня?

— Нет. Того, что останусь.

Они сидели молча. В кафе гремела посуда. Кто-то смеялся у стойки. Официантка ругалась с кофемашиной. Жизнь вокруг них была ужасно занята собой и поэтому казалась бессмертной.

Света встала.

— Напиши, когда зайдёшь в квартиру.

— Чтобы ты проверила?

— Чтобы я знала, что ты не соврал себе.

Она ушла. Андрей остался с холодным чаем, ключами и папкой, которую она оставила ему на столе. Через десять минут он вышел из кафе и пошёл не в офис, а в сторону метро. На телефон пришло сообщение от Алины: «Роман Игоревич спрашивает, где ты». Потом от Романа Игоревича: «Андрей, жду правки». Потом от матери: «Ты живой вообще?»

Он хотел ответить всем. Каждому свою маленькую ложь. Но не ответил никому.

В метро он стоял у двери и смотрел на своё отражение в тёмном стекле. Поезд летел по тоннелю. Лица пассажиров качались рядом с его лицом: женщина с пакетом, парень в наушниках, старик с газетой, девочка с огромным рюкзаком. Все отражения были полупрозрачные, будто люди уже начали исчезать, но ещё не заметили.

Квартира отца находилась в старом доме возле парка, где Андрей в детстве катался на велосипеде и однажды разбил колено так сильно, что кровь текла в ботинок. Тогда отец не стал жалеть. Он сказал: «Мужчина должен смотреть под ноги». Андрей потом много лет смотрел под ноги. Так много, что почти перестал видеть небо.

У подъезда пахло сыростью и кошками. Дверь открылась не с первого раза. Лифт был старый, с коричневыми стенками, исписанными ножом. На пятом этаже Андрей вышел и остановился перед дверью. Номер 47. Латунные цифры потускнели. Коврика не было. Отец всегда говорил, что коврики собирают грязь. Грязь, конечно, всё равно собиралась, просто без коврика, свободно, демократично.

Андрей достал ключи. Рука вспотела. Пластиковый домик на брелоке ударился о дверь. Тихий стук. Как будто кто-то изнутри ответил.

— Ну здравствуй, — сказал Андрей.

Он вставил ключ. Повернул. Замок щёлкнул тяжело, с

укором.

Дверь открылась, и запах ударил сразу. Старые обои, пыль, закрытые окна, лекарства, книжные страницы, немного табака, хотя отец бросил курить ещё до Андреева рождения, и что-то ещё — сухое, горькое, мужское. Запах человека, который всю жизнь молчал, а потом умер, оставив вместо объяснений воздух.

В прихожей висела куртка. Серая. Та самая. Под ней стояли тапки. Аккуратно, носками к двери. Будто отец вышел на минуту и сейчас вернётся, недовольный тем, что Андрей опять стоит и мнётся.

— Пап, — сказал Андрей неожиданно для себя.

Слово упало в квартиру и не разбилось. Просто осталось лежать.

Он прошёл внутрь. Свет не включался. Или лампочка перегорела. Или он не туда нажал. В полутьме вещи выглядели живыми и обиженными. На кухонном столе стояла чашка. В раковине тарелка. На холодильнике магнит с Волгой. Отец ни разу не был на Волге, насколько Андрей помнил. Может, кто-то подарил. Может, отец собирался. У всех были свои неслучившиеся Волги.

На столе в комнате лежала стопка бумаг, очки, пульт, газета семимесячной давности и школьная тетрадь в клетку. Обычная зелёная тетрадь с замятыми уголками. Андрей почему-то сразу посмотрел именно на неё. Не на документы, не на очки, не на пыльный телевизор, а на тетрадь. Она лежала

отдельно, как вещь, которую забыли спрятать.

Он подошёл. На обложке ничего не было. Только пятно от кружки и след от пальца. Андрей открыл первую страницу.

Там был отцовский почерк. Наклонённый вправо, сухой, упрямый, с острыми буквами. Всего три слова.

Начать в понедельник.

Андрей сел на край дивана. Пружины скрипнули. Он смотрел на эту фразу, и в груди снова поднялось что-то горячее, но теперь не приступ, не страх, не офисная злость. Хуже. Узнавание.

Отец тоже ждал понедельника.

Великий Виктор Сергеевич Лаптев, человек «вовремя», человек «не ной», человек «соберись», человек застёгнутых пуговиц и невымытых чувств, тоже, оказывается, что-то соби-
рался начать. Не во вторник. Не сегодня. Не сейчас, когда ещё есть сердце, руки, голос, ключи, время. В понедельник.

Андрей перелистнул страницу. Пусто. Ещё страницу. Пусто. Потом в середине тетради нашёл короткую запись: дата, которую он не сразу узнал. За два месяца до смерти отца.

Если не скажу ему сейчас, потом уже не скажу.

Ниже — пустые строки.

Андрей почувствовал, как в квартире стало слишком тихо. Даже холодильник не гудел. Даже город за окном куда-то делся. Он сидел с тетрадью на коленях, в отцовской комнате, среди пыли, куртки, тапок, несказанных слов, и впервые за этот длинный мерзкий день ему захотелось не пошутить, не

уйти, не написать кому-нибудь «потом», а заорать так, чтобы треснули стёкла.

Но он не заорал. Он только достал из кармана ручку — офисную, с логотипом компании, где человек потерял форму, — и на первой пустой странице, под отцовским «Начать в понедельник», написал криво, зло, почти царапая бумагу:

Господи, если ты есть, скажи мне, в какой понедельник люди наконец начинают жить?

Он долго смотрел на фразу. Потом усмехнулся.

— Ну вот, — сказал он пустой квартире. — Теперь ещё и с Богом переписываюсь. Прекрасно, Андрей. Просто прекрасно.

Он закрыл тетрадь, положил её обратно на стол, взял ключи, выключил неработающий свет, вышел в прихожую и почти машинально посмотрел на отцовскую куртку. Ему показалось, что в кармане что-то лежит. Бумага? Чек? Письмо? Он протянул руку, но остановился.

Не сегодня.

Потом.

Он закрыл дверь и только в лифте понял, что снова произнёс это слово внутри себя. Оно сидело в нём, как паразит. Потом. Потом. Потом. Маленькое бессмертное насекомое, которое переживёт всех людей.

Вечером врач сказал ему, что это похоже на паническую атаку, но обследоваться надо. Сказал про сон, давление, нагрузку, нервы, образ жизни. Сказал: «Организм не резино-

вый». Андрей чуть не ответил, что его организм скорее старый пакет из супермаркета: вроде держит, но уже страшно туда что-то класть. Не ответил. Кивал. Получил направления. Вышел на улицу.

Было темно. Дождь моросил так мелко, будто город не плакал, а просто потел. Андрей добрался домой, снял пальто, на этот раз повесил его в шкаф. Это показалось ему почти подвигом, хотя подвиги, наверное, не пахнут нафталином.

Он лёг не раздеваясь, потом заставил себя встать, почистил зубы, поставил телефон на зарядку, налил воды в стакан. Стакан, настоящий, чистый. Сел на край кровати. Усталость навалилась тяжёлая, тупая, без всякой драматургии. Он хотел написать Свете, что был в квартире. Не написал. Хотел ответить матери. Не ответил. Хотел открыть рабочую переписку. Телефон показал двадцать три сообщения. Он положил его экраном вниз.

В два часа ночи Андрей проснулся от того, что ему приснился отец. Не живой, не мёртвый — просто стоящий в дверях кухни с этой своей серой рубашкой, с руками, которые никогда не знали, куда деть нежность. Отец сказал: «Ты опять опоздал». Андрей хотел спросить: куда? Но проснулся.

В комнате было тихо. Сердце билось ровно. Рука не немела. На кухне капал кран.

Он долго лежал, смотрел в темноту и думал о тетради. О пустых строках. О фразе «если не скажу ему сейчас». О том, что отец мог хотеть сказать. О том, что никто уже не скажет.

Потом всё-таки уснул.

Утром телефон зазвонил в семь. Андрей открыл глаза не сразу. За окном было серое вторичное небо. Голова болела. Тело ныло. Жизнь, как обычно, стояла рядом с кроватью и ждала, когда он подпишет акт приёма-передачи страданий.

Он взял телефон. На экране было сообщение от Светы: «Ты зашёл?»

Он написал: «Да».

Света: «И?»

Андрей долго смотрел на это «И?». Потом ответил: «Нашёл тетрадь».

Света: «Какую?»

Он не успел ответить. Пришло новое сообщение с незнакомого номера. Того самого, по квартире отца.

«Андрей Викторович, доброе утро. Просьба сегодня приехать и забрать документы».

Ниже было ещё одно сообщение. Без имени отправителя. Без номера. Просто серый прямоугольник уведомления, будто телефон на секунду забыл, кому он принадлежит.

Ты всё перепутал. Понедельник — это не день. Это поступок.

Андрей сел в кровати.

Он перечитал сообщение один раз. Второй. Третий.

Потом открыл список сообщений.

Этого сообщения там не было.

На кухне снова капнул кран. Один раз. Второй. Третий.

Андрей сидел с телефоном в руке, босой, помятый, с кислым дыханием и мокрой спиной, и впервые за много лет ему очень захотелось, чтобы наступил самый обычный понедельник. Такой, где всё можно объяснить плохим сном, давлением, тревогой, глупостью, чем угодно.

Но был вторник.

И, кажется, кто-то уже начал отвечать.

Глава 2. Бог с плохим почерком

Андрей сидел на кровати с телефоном в руке и чувствовал себя идиотом, которого застукали за чем-то личным. Не за грязным даже, не за постыдным, а за жалким: за надеждой. Надежда всегда казалась ему неприличной вещью, вроде старых семейных трусов на батарее. Вроде бы у всех есть, но показывать нельзя. Он ещё раз открыл сообщения. Незнакомый номер по квартире отца был на месте. Света была на месте. Мать была на месте, конечно, мать всегда была на месте, как памятник тревоге. Рабочие сообщения тоже на месте — живые, жирные, наглые. А того серого прямоугольника не было. Ни в уведомлениях, ни в переписках, ни в удалённых, ни в какой-то особой папке для сумасшедших, которую телефон, наверное, заводит сам, когда хозяин начинает разговаривать с мёртвыми и Богом через школьную тетрадь.

Он даже полез в настройки уведомлений, хотя понимал в них примерно столько же, сколько его отец понимал в нежности. Экранные баннеры, недавние уведомления, разрешения, приложения. Ничего. Фраза исчезла так чисто, будто её и не было. А ведь была. Он видел её. Читал. Три раза. «Ты всё перепутал. Понедельник — это не день. Это поступок». Слишком складно для случайного сбоя. Слишком мерзко точно для рекламной рассылки. Слишком похоже на правду, а правда, как известно, редко приходит красиво. Обычно

она приходит утром, когда у тебя кислое дыхание, голова как мокрая тряпка, а трусы надеты задом наперёд.

Андрей встал, дошёл до ванной и посмотрел на себя в зеркало. Вчерашняя красная полоса от молнии почти ушла, зато на её месте проступило общее лицо человека, которого ночь не убила, но потрепала из принципа. Он высунул язык. Язык был беловатый, как будто внутри него кто-то побелил потолок дешёвой известью. Он почистил зубы дольше обычного, потому что чистка зубов — это единственная форма контроля, доступная человеку, когда реальность решила подмигнуть ему из тёмного угла. Потом умылся, надел чистую рубашку, почти без пятен, и уже собирался сварить кофе, но вспомнил врача, давление, сердце, Лисичку88 с её мёртвым соседом и налил себе воды. Получилось очень взрослое, унылое утро. Вода вместо кофе. Обследование вместо бессмертия. Тетрадь вместо здравого смысла.

Телефон завибрировал. Роман Игоревич.

Андрей посмотрел на имя и не взял. Внутри сразу поднялся привычный стыд, маленький офисный пёсик, который умел лаять только на хозяина. Он представил, как Роман Игоревич стоит у своего стеклянного кабинета, сжимает телефон двумя пальцами, будто чужая усталость может его испачкать, и говорит кому-то: «Лаптев опять выпал». Выпал. Хорошее слово. Человек не заболел, не испугался, не разваливается у себя на кухне. Он выпал. Как кнопка из дешёвой рубашки.

Следом пришло сообщение: «Андрей, наберите меня срочно».

Он написал: «Я сегодня к врачу и по семейным документам. Буду на связи».

Врал не полностью. Это было его любимое блюдо — правда, обжаренная в трусости.

Роман Игоревич ответил почти сразу: «Семейные документы не отменяют рабочие обязательства».

Андрей смотрел на эту фразу и вдруг представил, как напишет: «Роман Игоревич, а смерть отца отменяет? А паническая атака? А то, что я третий год просыпаюсь с ощущением, будто меня забыли выключить? А то, что ваши презентации, ваши воронки, ваши правки и ваши “потерял форму” однажды будут стоять ровно столько же, сколько засохший хумус в моём холодильнике?» Он даже набрал начало: «Роман Игоревич, я...» Потом стёр. Написал: «Понимаю. Пришлю к вечеру».

Он не понимал. И к вечеру, скорее всего, не пришлёт. Но эти две фразы были как старые тапки: мерзкие, зато привычные.

Мать позвонила в восемь пятнадцать. Андрей понял это ещё до звонка, по внутреннему холоду в животе. У некоторых людей есть биологические часы. У его матери были биологические сирены.

— Ты живой? — спросила она вместо приветствия.

— Пока да.

— Что значит «пока»? Не шути с таким. Я всю ночь не спала.

— Мам, ты каждую ночь не спишь.

— Вот именно. Потому что есть причины. У меня сердце, давление, погода, и ты ещё не отвечаешь.

Она всегда перечисляла свои болезни так, будто зачитывала боевые заслуги. Сердце, давление, погода. Погода у неё тоже была почти органом. В плохие дни болела. В хорошие — подозрительно молчала.

— Я был у врача, — сказал Андрей.

— Что случилось?

— Ничего. Приступ. Похоже на паническую атаку.

На том конце стало тихо. Потом мать вздохнула так, как вздыхает человек, которому сообщили не болезнь сына, а очередную его неорганизованность.

— Господи, Андрей. Какие ещё панические атаки? Тебе тридцать восемь лет.

— Они по паспорту не проверяют.

— Не умничай. У тебя отец никогда такими словами не прикрывался. Работал, молчал, терпел.

Андрей посмотрел на кухонное окно. На стекле висела капля, которая никак не могла решить, падать ей или остаться. Почти родственница.

— И прекрасно получилось, — сказал он. — Умер, оставил квартиру, долги и тетрадь с понедельником.

— Что?

Он понял, что проговорился.

— Ничего.

— Какую тетрадь?

— Старую. Нашёл у него.

— Ты был в квартире?

— Был.

— И ничего мне не сказал?

Вот это было замечательно. Его можно было ударить за то, что он не ездил в квартиру, а потом — за то, что поехал и не доложил в прямом эфире. Мать владела искусством строить вину из любого материала. Даже из воздуха могла. Особенно из воздуха.

— Мам, я сам вчера туда зашёл. Мне было тяжело.

— А мне легко, ты думаешь? Я с ним тридцать лет прожила.

— Вы развелись двадцать два года назад.

— Это для документов. Для нервной системы никто не разводится.

Фраза была сильная. Обидно сильная. Андрей даже хотел её записать, но решил, что записывать материнские формулы — всё равно что собирать ножи, которыми тебя уже порезали.

— Я сегодня снова поеду туда. Нужно найти документы.

— Какие документы?

— Не знаю ещё.

— Вот именно. Ты ничего не знаешь. Ты всегда так. Сна-

чала не делаешь, потом бегаешь.

— Спасибо, мам. Очень помогает.

— Я говорю, как есть.

— Нет. Ты говоришь, как страшно.

На том конце снова стало тихо. Андрей сам удивился, что сказал это. Не громко, не красиво, не как герой в кино, который наконец поставил мать на место. Просто устало. Почти без сил. Иногда правда выходит не с мечом, а в тапках.

— Что ты сказал? — спросила она.

— Ничего.

— Нет, повтори.

— Мам, я перезвоню.

— Андрей!

Он отключил вызов. И сразу почувствовал себя мерзавцем. Это была старая схема, надёжная, как советский шкаф: сначала она вбивает в него страх, потом он защищается, потом она обижается, потом он чувствует себя плохим сыном и звонит извиняться. Так они жили годами. Семейная традиция. У кого-то воскресные обеды, у них — взаимное эмоциональное удушение с перерывом на давление.

Он не перезвонил. Положил телефон экраном вниз. Пять секунд смотрел на него, как на мину. Потом перевернул обратно, потому что вдруг что-то важное. Вот так зависимость и выглядела: ты даже от мины ждёшь сообщения.

Квартира отца днём оказалась ещё хуже, чем вечером. В темноте вещи хотя бы имели право на тайну. При дневном

свете они выглядели бедно, пыльно и виновато. Обои у двери отходили полосой. На полу у плинтуса лежала мёртвая муха, свернувшаяся так аккуратно, будто и она решила не мешать. В прихожей всё так же висела серая куртка. Тапки стояли носками к двери. Андрей задержался возле них. У отца была неприятная привычка ставить обувь идеально ровно. Даже домашние тапки у него выглядели так, будто готовились к проверке. В детстве Андрей часто бросал кроссовки как попало, и отец молча переставлял их носками вперёд. Не ругал. Не объяснял. Просто переставлял. Это было хуже ругани. В молчании отца всегда было что-то такое, от чего хотелось самому попросить наказания, лишь бы понять, что именно ты нарушил.

На кухне стоял запах пустой квартиры. Не смерти уже, нет. Смерть, наверное, выветривается быстрее, чем привычки. Остался запах человека, который долго жил один и не умел радоваться без свидетелей. На подоконнике стояла банка с монетами. На холодильнике висел календарь за прошлый год. Последней отмеченной датой было воскресенье. Красный кружок вокруг числа. Андрей подошёл ближе. Воскресенье, за два дня до больницы. Рядом отцовским почерком было написано: «Позвонить А.»

А.

Не «Андрею». Не «сыну». Просто буква. Как будто полное имя было слишком тёплым для этого холодильника.

Андрей снял календарь, потом повесил обратно. Не знал

зачем. В квартире отца каждая вещь требовала решения, а у него внутри вместо решения стоял старый табурет и скрипел.

Он прошёл в комнату. Тетрадь лежала на столе. Там же, где вчера. Зелёная, дешёвая, с пятном от кружки. Андрей не стал сразу её открывать. Сначала проверил окна. Закрыты. Дверь. Заперта. Балкон. Завален старыми лыжами, банками, какой-то коробкой из-под телевизора. Никого. Ни спрятавшегося шутника, ни религиозного курьера, ни соседа с миссией довести его до психиатра. Только квартира, пыль и он сам — человек, который даже в мистику пытался зайти через проверку замков.

Он сел за стол. Перед ним лежала тетрадь. Смешно, как мало нужно, чтобы взрослый мужик испугался: не нож, не кровь, не чёрная машина у подъезда. Тетрадь за девятнадцать рублей. В клетку.

Он открыл первую страницу. «Начать в понедельник». Почерк отца. Сухой, наклонённый, знакомый. Андрей перевернул дальше. Нашёл вчерашнюю страницу. Его фраза была на месте.

Господи, если ты есть, скажи мне, в какой понедельник люди наконец начинают жить?

Под ней пусто.

Андрей выдохнул. Даже почувствовал облегчение. Вот. Ничего нет. Телефон глюкнул, он не выспался, мозг устроил маленький спектакль на фоне давления, паники, отца и кофе. Всё объяснимо. Всё мерзко, но объяснимо. Он почти

улыбнулся.

Потом увидел ответ на следующей странице.

Не под его вопросом. Не сразу. А на следующей странице, сверху, как будто тот, кто писал, решил не пачкать место рядом с его отчаянием.

Ты всё перепутал. Понедельник — это не день. Это поступок.

Андрей не двигался. Даже моргать забыл. Сердце сделало один тяжёлый удар, потом второй. Почерк был не его. И не отца. Или похож? Нет. У отца буквы были острые, как гвозди. У Андрея — расплзшиеся, ленивые, офисные. А тут буквы были неровные, будто писал человек, который очень давно не держал ручку или держал её чужой рукой. Страшнее всего было не это. Страшнее всего было то, что фраза выглядела не мистически. Не светилась. Не была написана кровью, золотом или огнём, как полагалось бы приличному чуду. Обычная синяя паста. Обычная клетка. Бог, если это был Бог, пользовался дешёвой шариковой ручкой.

Андрей резко встал, стул закрипел по полу. Ему захотелось выйти. Нет, не выйти — сбежать, захлопнуть дверь, вызвать кого-нибудь нормального, например слесаря, полицию, Свету, психиатра, бригаду по ремонту реальности. Он отошёл к окну, открыл форточку. В комнату вошёл холодный воздух, пахнувший мокрым деревом и бензином. Во дворе мужчина в синей куртке пытался завести старую машину. Машина кашляла, мужчина матерился. Мир продолжал

заниматься своими простыми делами. Никто не знал, что в квартире номер 47 тетрадь решила стать религиозным оружием.

Телефон зазвонил. Андрей вздрогнул так, что чуть не выронил его. Незнакомый номер.

— Андрей Викторович? — голос был женский, деловой, с лёгкой хрипотцой.

— Да.

— Это Ирина Павловна, по квартире Виктора Сергеевича. Мы вам писали. Вы сможете сегодня подъехать к четырём? Нужно обсудить документы. Там есть нюанс.

— Какой нюанс?

— По телефону не очень удобно.

— У меня сейчас вообще всё неудобно, Ирина Павловна. Давайте попробуем.

Женщина на том конце молчала секунду. Видимо, решала, с каким уровнем идиота имеет дело.

— Квартира не полностью оформлена, — сказала она. — Есть старое обязательство, связанное с займом под залог доли. Я понимаю, что звучит неприятно.

— Залог доли? — Андрей закрыл глаза. — Отец взял деньги?

— Судя по бумагам, да. Но не в банке. Сумма не огромная, но сроки поджимают. Если документы не поднять, ситуация может стать сложнее.

— Конечно, — сказал Андрей. — Было бы странно, если

бы мёртвый отец оставил мне просто пыль и тапки.

— Простите?

— Ничего. Какие документы нужны?

— Договор займа, расписка, возможно, дополнительные соглашения. Он мог хранить их дома. Обычно такие люди хранят в папках, коробках, книгах.

«Такие люди». Андрей посмотрел на отцовскую комнату. Таких людей тут было навалом. Один умер. Второй стоял у окна и сжимал телефон.

— Я сейчас в квартире, — сказал он.

— Хорошо. Посмотрите письменный стол, верхние полки, шкаф. Иногда пожилые мужчины кладут важное в самые нелепые места.

— Ему было шестьдесят семь.

— Для документов это уже пожилой мужчина, Андрей Викторович.

Он почему-то обиделся за отца. Глупо. Сам мог называть его старым сухарём, мёртвым бюрократом и человеком с эмоциональным диапазоном табуретки, но когда чужая женщина сказала «пожилой мужчина», внутри что-то дернулось.

— Я поищу, — сказал он.

— И ещё, — добавила Ирина Павловна. — Если найдёте личные записи, письма, тетради, не выбрасывайте сразу. Иногда люди записывают туда важные суммы, фамилии, даты.

Андрей посмотрел на зелёную тетрадь.

— Да, — сказал он. — Тетради точно выбрасывать рано.

После звонка он принялся искать документы. Это было даже хорошо. Документы — вещь земная. Бумага, папка, печать, подпись, долг. С ними можно было злиться по-человечески. Он выдвигал ящики письменного стола, чихал от пыли, находил старые инструкции от магнитофона, квитанции за свет, гарантийный талон на чайник, который давно умер раньше отца, фотографии, батарейки, коробочку с пуговицами, высохший клей, советскую открытку с оленями. В нижнем ящике лежал маленький блокнот с телефонными номерами. Некоторые имена были зачёркнуты. Напротив одного стояла пометка: «умер». Отец и смерть даже в записной книжке обходились без лишних слов.

В шкафу висели три рубашки. Все серые, синие, одна клетчатая — воскресная, наверное, хотя отец и в воскресенье выглядел так, будто готов явиться на совещание к Господу. На верхней полке стояла коробка из-под обуви. Андрей снял её, открыл. Внутри лежали фотографии. Он не хотел смотреть, но, конечно, стал. Мать молодая, с круглым лицом, смеётся. Отец молодой, тонкий, почти красивый, стоит рядом неумело, будто боится занять лишнее место в кадре. Андрей маленький, в шапке с помпоном, держит пластмассовую лопату. На другой фотографии он сидит на отцовских плечах и тянет руку к ветке. Отец смотрит вверх и улыбается. Настояще. Не широко, не киношно, но улыбается. Андрей долго смотрел на это лицо. Оно было невозможным.

Как доказательство преступления, которого ты не совершал, но почему-то всё равно чувствуешь вину.

Он не помнил этой улыбки. Или помнил, но куда-то дел. Детская память странная тварь: плохое хранит в стеклянных банках с этикетками, хорошее бросает в один ящик с фантиками и засохшим пластилином.

Под фотографиями лежал конверт. На нём было написано: «Андрею». Не «А.». Не «сыну». Полностью. Андрей сел на пол. В горле сразу стало тесно. Он ненавидел эти дешёвые жесты судьбы. Конверт после смерти. Письмо, которое надо читать слишком поздно. Мёртвые вообще любят драматургию. При жизни — молчат, после смерти — оставляют бумажки, по которым живые должны ползать на коленях.

Он открыл конверт не сразу. Сначала положил его на колени, потом поднял, понюхал за чем-то. Бумага пахла пылью и шкафом. Внутри был один лист. Почерк отца.

«Андрей. Если ты это читаешь, значит, я всё-таки не сказал. Я много раз собирался. В основном по понедельникам. Смешно, наверное. Ты всегда смеялся над моими порядками, а я сам всю жизнь ждал удобного дня для одного разговора».

Дальше буквы шли теснее.

«Я не умел быть отцом так, как тебе было нужно. Не потому, что не хотел. Хотя какая разница, если результат один. Я всё время думал, что главное — не мешать, кормить, платить, не лезть с нежностями, не делать из мальчика слюнтяя.

Так меня учили. Я не оправдываюсь. Оправдания нужны живым. Я, видимо, уже не очень».

Андрей усмехнулся сквозь сжатые зубы. Отец даже в письме не позволял себе размахнуться. «Не очень». Не мёртвый, а «не очень». Весь Виктор Сергеевич.

«Я видел, что ты на меня злишься. Я делал вид, что не вижу. Так проще. Ты тоже делаешь вид, что тебе всё равно. У нас это семейное. Я хотел сказать тебе одну вещь, но каждый раз откладывал. Потом заболел. Потом стало стыдно. Потом поздно».

Андрей остановился. Слово «потом» торчало из листа, как гвоздь. Он провёл по нему пальцем.

«Не живи так, как я. Это не наказание и не просьба. Просто, если можешь, не живи. Я думал, что правильный день придёт сам. Он не пришёл. Ни один понедельник не оказался достаточно понедельником».

Последняя строка была написана крупнее, будто отец уже устал или злился на руку.

«В столе есть зелёная тетрадь. Если хватит злости — пиши туда. Иногда человек честнее разговаривает с бумагой, чем с живыми».

Подписи не было. Просто буква «В.». Виктор. Или, может, «всё». У отца даже конец письма выглядел как сокращение.

Андрей сидел на полу, спиной к шкафу, среди рубашек, коробки, фотографий и пыли. Где-то в коридоре капала вода. Машина во дворе наконец завелась и уехала, будто реши-

ла не присутствовать при семейном вскрытии. Он перечитал письмо ещё раз. На втором прочтении злость пришла быстрее. Хорошая, горячая, родная.

— Ну конечно, — сказал он в пустую комнату. — Конечно. При жизни молчал, а теперь решил стать писателем.

Он встал, сжал письмо, потом разжал. Нельзя было мять. Хотелось. Но нельзя. В этом была вся гадость: мёртвых нельзя ударить, нельзя перебить, нельзя заставить договорить. Они получают последнее слово автоматически. Живым остаётся только читать, глотать и чувствовать себя неблагодарным, если больно.

В дверь позвонили.

Андрей вздрогнул. Звонок был старый, резкий, как школьный. Он сунул письмо обратно в конверт, положил на стол и пошёл открывать. За дверью стояла маленькая женщина лет семидесяти пяти в бордовом халате, вязаной кофте и с лицом человека, который давно следит за подъездом лучше любой камеры. В руках у неё была тарелка, накрытая салфеткой.

— Вы Андрей? — спросила она.

— Да.

— Я Раиса Аркадьевна. Соседка. Ваш отец менял мне лампочки. А вы на него похожи, только помятее.

— Спасибо, — сказал Андрей. — Очень приятно.

— Не обижайтесь. Сейчас все помятые. Время такое. Я пирожки принесла. С картошкой. Не знаю, едите ли вы. Сей-

час все то одно не едят, то другое. Я уже боюсь людям еду предлагать, будто наркотики раздаю.

Она протянула тарелку. Андрей хотел отказаться, но тарелка была тёплая, а Раиса Аркадьевна смотрела так, что отказ выглядел бы не просто невежливостью, а преступлением против старых женщин, картошки и лампочек.

— Спасибо.

— Вы проходите? — спросила она.

— Это вы ко мне пришли.

— Вот и проходите ко мне в разговор, — сказала она. — Мне в коридоре сквозит.

Она вошла без приглашения. Маленькая, но с таким правом на пространство, будто весь дом строили вокруг её халата. В прихожей она посмотрела на куртку Виктора Сергеевича, вздохнула и поправила рукав.

— Хороший был человек, — сказала она. — Трудный. Но хороший.

Андрей поставил пирожки на тумбочку.

— Это часто путают.

— Что?

— Хороший и трудный.

Раиса Аркадьевна посмотрела на него прищурившись.

— Молодые любят, чтобы человек был удобный. А хорошие часто неудобные. Плохие, кстати, тоже. Поэтому надо смотреть не на удобство.

— А на что?

— На то, что человек делает, когда никто не видит.

Она прошла в комнату, будто бывала здесь сто раз. Наверное, бывала. Андрей представил, как отец открывает ей дверь, молча берёт стремянку, вкручивает лампочку, она говорит без остановки, он отвечает «угу», а потом они пьют чай в этой самой кухне. От этой картины почему-то стало неприятно. Не ревниво даже, а странно: какая-то чужая женщина знала его отца в быту лучше, чем он в последние годы.

Раиса Аркадьевна увидела зелёную тетрадь на столе.

— Нашли, значит.

Андрей медленно повернулся к ней.

— Вы знаете про неё?

— Конечно. Он её у меня взял.

— У вас?

— Ну не совсем у меня. Я ему дала. У меня внучка купила десять штук для курсов каких-то, потом бросила. Я ему сказала: Виктор Сергеевич, записывайте давление. А он сказал: «Лучше буду записывать то, что не успел». Я подумала, шутит. Он вообще иногда шутил, но так тихо, что люди не понимали и обижались.

Андрей не знал, что сказать. Отец шутил. Тоже новость. Скоро выяснится, что он танцевал чечётку и писал любовные письма под псевдонимом.

— Он что-нибудь говорил про меня? — спросил Андрей и тут же пожалел. Вопрос вышел детский, голый, без ботинок.

Раиса Аркадьевна села на стул. Не спросила разрешения.

Старые женщины вообще редко спрашивают разрешения у мебели.

— Говорил.

— Что?

— Что вы заняты.

Андрей усмехнулся.

— Это всё?

— Нет. Ещё говорил, что вы умный и злой.

— Прекрасно.

— Не на людей злой, — сказала она. — На себя. Это хуже.

От людей можно уйти, а себя таскаешь даже в магазин.

Она сняла салфетку с пирожков. Пар поднялся маленьким домашним облаком. В комнате отца вдруг запахло картошкой и тестом, и от этого стало почти невыносимо. Мёртвые вещи не должны так легко впускать жизнь.

— Он ждал вас, — сказала Раиса Аркадьевна.

— Когда?

— По понедельникам.

Андрей почувствовал, как внутри всё стало тихим и тяжёлым.

— Что значит — по понедельникам?

— В последние месяцы. Садился у окна после обеда. Говорил: «Может, зайдёт». Я ему говорила: позвоните сами. А он: «Не умею». Я говорю: нажали кнопку — и умеете. А он: «Не в этом дело».

Андрей посмотрел на окно. На подоконнике пыль лежа-

ла ровным слоем, кроме одного места у края, где, наверное, отец ставил локоть. Или чашку. Или просто сидел и смотрел во двор, как люди, которые ждут не человека даже, а версию себя, способную позвонить первой.

— Он никогда не просил меня прийти.

— А вы никогда не приходили без просьбы?

Раиса Аркадьевна сказала это не зло. В этом и была подлость. Злость легче отбить. Тихую правду приходится принимать лицом.

— Мы не общались, — сказал Андрей.

— Общались. Просто плохо.

Она взяла пирожок, откусила, пожевала.

— Соль нормально. Я боялась, пересолила. Когда нервничаю, солю как на похороны.

— Вы нервничаете?

— Конечно. У меня в соседней квартире сын мёртвого человека разговаривает с тетрадами.

Андрей замер.

— Что?

Раиса Аркадьевна посмотрела на него спокойно.

— Стены тонкие. Вы вчера громко спрашивали у Бога про понедельник. Я сначала подумала, телевизор. Потом вспомнила, что телевизор у Виктора Сергеевича не работает с марта.

Андрей закрыл глаза. Вот и всё. Мистика схлопнулась до старушки за стеной. Позорная, глупая, подъездная мистика.

Он почти рассмеялся.

— Так это вы? — спросил он.

— Что я?

— Написали ответ?

— Какой ответ?

Она выглядела искренне. Но старики умеют выглядеть искренне даже когда прячут в серванте три килограмма чужого сахара.

— В тетради. Фразу.

Раиса Аркадьевна положила пирожок на салфетку. Её лицо изменилось. Не испугалось, нет. Скорее стало внимательнее, как у человека, который услышал знакомый звук в пустой квартире.

— Какую фразу?

Андрей хотел соврать. Сказать «неважно». Но после письма отца, после звонка матери, после этого утра ложь казалась уже не защитой, а тяжёлой сумкой, которую он сам себе накинул на шею.

— «Ты всё перепутал. Понедельник — это не день. Это поступок».

Раиса Аркадьевна перекрестилась. Быстро, почти сердито.

— Я такого не писала.

— А кто?

— Откуда я знаю? Может, вы.

— Я не писал.

— Все так говорят, когда пишут самое честное.

— Вы сейчас серьёзно?

— В моём возрасте уже лень быть несерьёзной.

Она встала, подошла к столу, не трогая тетрадь, наклонилась. Прочитала. Долго молчала.

— Почерк не ваш, — сказала она.

— Вы мой почерк знаете?

— Вы расписались у меня в журнале, когда вам повестку какую-то приносили. Вы так пишете, будто спешите извиниться.

Андрей сел напротив неё. Его начало слегка мутить. Не сильно, но достаточно, чтобы мир приобрёл неприятную мягкость по краям.

— Может, отец заранее написал? — сказал он.

— После вашего вопроса?

— Может, страница была. Я не заметил.

— Может. Люди много чего не замечают, особенно когда оно лежит перед носом.

Она сказала это и снова посмотрела на письмо на столе. Андрей проследил за её взглядом.

— Вы знали про письмо?

— Нет. Но надеялась.

— На что?

— Что он всё-таки оставил вам не только проблемы.

Она пошла к двери, потом остановилась.

— Андрей.

Он поднял голову.

— Что?

— Не выбрасывайте тетрадь.

— Почему?

Раиса Аркадьевна усмехнулась.

— Потому что выбросить проще всего. У нас люди что угодно выбрасывают: вещи, письма, детей, себя, целую жизнь. А потом стоят у мусорного бака и делают вид, что стало легче.

Она ушла. Пирожки остались на тумбочке. Андрей стоял посреди комнаты и чувствовал, что эта старая женщина только что вошла в его жизнь в бордовом халате, съела пирожок, сказала несколько вещей, которые он не просил, и ушла, оставив после себя запах картошки и подозрение, что Бог, если он существует, работает через самых неприятно конкретных людей.

Он вернулся к столу. Открыл тетрадь. Посмотрел на ответ. Потом на свою фразу. Потом взял ручку.

Долго не писал. Ручка лежала в пальцах тяжело. Он чувствовал себя человеком, который хочет позвонить в дверь, но боится, что ему откроют.

Наконец написал:

Кто это пишет?

Он поставил точку. Потом зачеркнул её и поставил вопросительный знак. Получилось некрасиво, нервно.

Сел. Ждал.

Ничего.

Пять минут. Десять. Пятнадцать.

За стеной Раиса Аркадьевна включила телевизор. Мужской голос бодро рассказывал о пользе гречки. Во дворе кто-то сигналил. В трубе что-то стучало. Тетрадь молчала. Конечно молчала. Что он ожидал? Что сейчас из бумаги вылезет сияющая рука и напишет: «Дорогой Андрей, это отдел небесной поддержки, ваш запрос принят»?

Он закрыл тетрадь и устало рассмеялся. Смех вышел хриплый.

— Всё, Лаптев, — сказал он. — Пора к врачу не только по сердцу.

Но уходить не хотелось. Это было странно. В этой пыльной квартире, среди отцовских рубашек и долгов, ему было тревожно, больно, мерзко, но впервые за долгое время не пусто. Пустота дома была знакомая: диван, телефон, офисные письма, скомканный буклет «Начни сегодня». А тут была боль. Боль хотя бы что-то доказывала. Что он не совсем пластмассовый.

Он нашёл документы через час. Не все, но часть. Они лежали действительно в нелепом месте — внутри старого тома «Справочника радиолобителя». Отец никогда не был радиолобителем. Книгу ему подарили на работе в девяносто втором, и он хранил её тридцать лет, как доказательство того, что вещь, однажды попавшая в дом, получает право на вечную прописку. Внутри были расписки, копия договора,

лист с фамилией человека, которому отец должен был деньги, и несколько платежных квитанций. Сумма была неприятная. Не смертельная, но такая, от которой хочется сесть и посмотреть в стену, как будто стена может взять кредит на себя.

Андрей сфотографировал бумаги, отправил Ирине Павловне. Она ответила: «Это уже лучше. Но нужен оригинал дополнительного соглашения. Поищите ещё. Возможно, отдельный лист».

Он посмотрел на комнату. «Поищите ещё» — девиз всей его жизни.

К пяти вечера он устал так, будто перетаскивал не бумаги, а самого отца из одного угла памяти в другой. Он ел пирожки Раисы Аркадьевны холодными, прямо над столом. Они были слишком солёные. И прекрасные. В какой-то момент он поймал себя на том, что хочет позвонить Свете и рассказать: про письмо, про отца у окна, про тетрадь, про старушку, про то, что его отец, оказывается, ждал по понедельникам. Но он не позвонил. Не потому, что «потом». А потому, что вдруг понял: нельзя каждый раз тащить на Свету всё, что внутри него начинает шевелиться. Она не жена. Не скорая помощь. Не мусорный контейнер для его поздних прозрений.

Он написал ей только: «Я в квартире. Нашёл часть документов».

Света ответила: «Молодец».

Одно слово. Простое. Не восторженное. Не материнское.

Не спасительное. Но Андрей вдруг положил телефон на стол и минуту сидел неподвижно. Его давно никто не называл молодцом так, чтобы за этим не торчала следующая просьба.

Потом пришло сообщение от Романа Игоревича: «Правки?»

Андрей посмотрел на экран. Внутри привычно поднялась волна стыда, но она была слабее, чем утром. Может, устала. Может, пирожки её прибили.

Он написал: «Сегодня не смогу. Завтра утром».

Три точки появились сразу. Роман Игоревич печатал. Андрей смотрел на эти точки, как на приближающуюся артиллерию.

«Андрей, ваша позиция непрофессиональна».

Он набрал: «Понимаю». Потом остановился. Стер.

Написал: «Да».

И всё.

Это «да» было маленьким, почти бессмысленным. Но в нём не было поклона. Андрей даже перечитал. Просто «Да». Признал факт. Не оправдался. Не лёг животом на пол. Не стал объяснять, что у него тетрадь, отец, долги, Бог с плохим почерком и солёные пирожки. Просто «Да».

Тетрадь лежала рядом. Он открыл её машинально, без ожидания. На странице под его вопросом «Кто это пишет?» всё ещё было пусто.

Он усмехнулся.

— Ну конечно. Когда я наконец спросил нормально, ты

ушёл на обед.

В коридоре что-то упало. Андрей вздрогнул, вышел. Серая отцовская куртка сорвалась с крючка и лежала на полу. Сама? От сквозняка? От плохого гвоздя? От старого дома? Да от чего угодно. В нормальном мире у всего есть причина. В ненормальном — тоже, просто ты её не любишь.

Андрей поднял куртку. Она была тяжёлая. В кармане что-то хрустнуло.

Он вспомнил, как вчера хотел проверить карман и остановился. «Не сегодня». «Потом». Это слово опять стояло рядом, довольное, с жирными лапками.

— Ладно, — сказал он. — Не потом.

Он засунул руку в правый карман. Там были старые перчатки и чек из аптеки. В левом — связка каких-то маленьких ключей, леденец в бумажке и сложенный вчетверо лист. Лист был тонкий, вырванный из той самой зелёной тетради. Андрей развернул его.

Почерк отца.

«Если он всё-таки приедет, Раиса, не говорите ему сразу. Пусть сначала сам найдёт».

Андрей прочитал. Потом ещё раз. Потом медленно сел на пол прямо в прихожей, держа лист перед собой.

Раиса.

Не «соседка». Не «Раиса Аркадьевна». Раиса.

Значит, отец просил её. Значит, он думал, что Андрей приедет. Значит, он что-то подготовил. Значит, эта квартира

была не просто складом долгов, а ловушкой. Или письмом. Или последней неуклюжей попыткой разговора, растянутой по комнатам.

Телефон завибрировал. На экране было сообщение от Раисы Аркадьевны. Андрей не помнил, чтобы давал ей свой номер.

«Нашли?»

Он медленно поднял глаза на стену. За стеной телевизор всё ещё рассказывал про гречку.

А потом на столе, в комнате, что-то тихо шуршало.

Андрей не сразу встал. Ноги будто налились ватой. Он заставил себя подняться, прошёл в комнату и увидел открытую тетрадь. Он точно оставлял её закрытой. Точно. Или не точно? В последние два дня слово «точно» стало очень дешёвым.

На странице под его вопросом появился ответ.

Неважно, кто пишет. Важно, кто наконец читает.

Глава 3. Организм не резиновый

Андрей долго смотрел на строчку в тетради и ждал, что сейчас произойдёт что-нибудь окончательно убедительное. Лампа мигнёт. Окно распахнётся. Из стены ползет старик с бородой и скажет: «Ну что, Лаптев, доигрался?» Но ничего не происходило. За стеной Раиса Аркадьевна смотрела передачу про гречку. Во дворе кто-то сдавал назад и пищал парктроником. В прихожей на полу лежала отцовская куртка, которую Андрей так и не повесил обратно. Мир держался нагло, будто не он только что подsunул человеку тетрадь с ответом, которого не должно было быть.

Неважно, кто пишет. Важно, кто наконец читает.

Фраза была противная. Слишком умная для розыгрыша. Слишком точная для случайности. И написана опять этим неровным синим почерком — не отцовским, не его, не Раисиным, если, конечно, у Раисы Аркадьевны не было тайной привычки писать как уставший пророк после инсульта.

— Кто наконец читает, — повторил Андрей. — Великолепно. Теперь меня воспитывает канцелярская бумага.

Он взял ручку и написал ниже:

Если ты такой умный, скажи нормально: кто ты?

Подождал.

Ничего.

Тогда он добавил:

И почему пишешь как человек, который держит ручку зубами?

Опять ничего.

Это его почему-то взбесило сильнее, чем сам ответ. Тетрадь вела себя как все важные люди в его жизни: появлялась, говорила одну фразу, портила ему внутреннюю мебель и исчезала, оставляя его самого разгребать последствия. Отец так делал. Мать так делала. Начальник так делал. Света в последнее время тоже, хотя Света хотя бы имела право. Теперь к этому клубу присоединилось нечто невидимое с плохим почерком и страстью к понедельникам.

Андрей захлопнул тетрадь. Тут же открыл обратно. Проверил страницу. Текст был на месте. Он сфотографировал её на телефон. Посмотрел снимок. Всё видно. Строчки, клетка, синий наклон. Значит, не галлюцинация. Или галлюцинация уже научилась фотографироваться, что тоже было логично: прогресс, двадцать первый век, даже безумие теперь с поддержкой камеры.

Он пошёл к Раисе Аркадьевне.

Дверь она открыла не сразу. Сначала за дверью загремела цепочка, потом кто-то сказал: «Да иду я, не пожар же», потом показалась сама Раиса Аркадьевна — теперь в зелёной кофте, с бигуди на голове и с таким лицом, будто Андрей пришёл не за объяснениями, а занять соль на двадцать лет.

— Что у вас опять? — спросила она.

— Вы мне номер давали?

— Какой номер?

— Телефона. Вы мне писали: «Нашли?»

Она посмотрела на него внимательно, потом вздохнула.

— Не писала я вам ничего.

— Раиса Аркадьевна.

— Молодой человек, я, может, старая, но не настолько, чтобы писать загадочные сообщения мужчинам из соседних квартир. Я вообще сообщения не люблю. Там пальцем надо тыкать, а у меня палец с характером.

Андрей достал телефон, открыл переписку. Сообщения от Раисы не было. Он застыл. Проверил ещё раз. Ничего. Ни «Нашли?», ни номера, ни имени. Только список обычных унижений: Роман Игоревич, Света, мать, Ирина Павловна, доставка, банк, стоматология, которая третий месяц предлагала ему чистку зубов со скидкой, словно зубы были единственным местом, где ещё можно было навести порядок.

Раиса Аркадьевна смотрела на него с видом человека, который уже не удивляется, но ещё выбирает, насколько громко надо охать.

— Исчезло, — сказал Андрей.

— Что?

— Сообщение.

— А вы поешьте нормально, может, меньше исчезать будет.

— Я серьёзно.

— Я тоже. Голодный мужчина любую чертовщину прини-

мает близко к сердцу.

Она открыла дверь шире.

— Проходите. Только обувь снимите. У меня ковёр, ему сорок лет, он уже почти член семьи.

Квартира Раисы Аркадьевны оказалась маленькой, тёплой и полностью забитой жизнью. Там было всё, чего не было у отца: скатерть с цветами, кактус в консервной банке, фотографии на стене, радиоприёмник, запах жареного лука, толстая рыжая кошка на подоконнике и календарь с видами Кисловодска, где все горы выглядели так, будто их тщательно вымыли перед съёмкой. На телевизоре стояла фарфоровая балерина без одной руки. Андрей подумал, что в этой квартире даже сломанные вещи выглядели принятыми, а у отца целые казались виноватыми.

— Чай будете? — спросила Раиса Аркадьевна.

— Нет.

— Будете.

Она поставила чайник, не ожидая согласия. В этом возрасте люди уже не спорят, они просто переставляют мир по своему удобству.

Андрей сел на табурет. Кошка посмотрела на него жёлтыми глазами, зевнула и отвернулась, как опытная женщина после короткого брака.

— Вы знали, что отец оставил мне письмо? — спросил Андрей.

— Догадывалась.

— Вы знали, что в куртке записка с вашим именем?

Раиса Аркадьевна перестала доставать чашку. Очень медленно поставила её на стол.

— Нашли, значит.

— Раиса.

— Не начинайте так. Меня Раисой только покойный называл, когда хотел сделать вид, что не просит о помощи.

— Так вы были не просто соседкой?

— А кем надо быть, чтобы человеку лампочку поменять, лекарство принести и посидеть с ним, когда он боится умереть, но стесняется сказать? Любовницей? Свидетелем? Нотариусом? У нас в стране всё простое надо обязательно испачкать названием.

Андрей почувствовал, как внутри поднялась ревность. Дикая, неуместная, детская. Отец боялся умереть при этой женщине. Отец говорил с ней. Отец называл её по имени. А с ним он за всю жизнь не сумел нормально обсудить даже то, почему нельзя щёлкать брелком.

— Он вам рассказывал обо мне?

— Рассказывал.

— Что именно?

— Что вы хороший мальчик.

Андрей рассмеялся.

— Мне тридцать восемь.

— Родители редко успевают обновить возраст ребёнка. Для них вы всё время тот, кто однажды упал с велосипеда и

орал на весь двор.

— Я не орал.

— Орали. Я слышала. Тогда ещё здесь жила моя сестра. Ваш отец вас нёс на руках и ругался так тихо, что все поняли: испугался.

Андрей отвернулся к окну. Чайник начинал шуметь. На стене тикали часы. У Раисы Аркадьевны всё тикало, шуршало, дышало, булькало. Даже тишина у неё была с домашними тапками.

— Он никогда не говорил, что испугался, — сказал Андрей.

— Мужчины вашего семейства вообще многое не говорят. Потом удивляются, что их никто не понял.

— Вы сейчас тоже будете меня воспитывать?

— Я уже воспитываю. Просто вы медленно схватываете.

Она налила чай. Чай был крепкий, почти чёрный. Поставила перед ним чашку и тарелку с печеньем, которое выглядело так, будто пережило две денежные реформы.

— Что он вам сказал перед смертью? — спросил Андрей.

Раиса Аркадьевна села напротив. Лицо у неё стало другим. Меньше подъездной власти, больше усталости.

— Перед смертью люди редко говорят красиво. Это в книгах они успевают всё объяснить. В жизни у них трубки, катетеры, сухие губы и страх, что сейчас войдёт медсестра и увидит, как ты пытаешься быть человеком. Ваш отец не произносил больших речей. Он попросил меня оставить тетрадь

на столе, если вы приедете. И не трогать куртку.

— Почему куртку?

— Не знаю.

— Вы всё время говорите «не знаю».

— Потому что это честный ответ. Попробуйте, вам понравится.

Андрей взял чашку. Чай обжёг губу. Он обрадовался боли: понятная, маленькая, с причиной.

— Он говорил, что ждёт меня по понедельникам?

— Да.

— Почему именно по понедельникам?

— Потому что вы когда-то обещали приезжать по понедельникам.

— Я?

— После развода, кажется. Или после его больницы. Вы сказали: «Буду заезжать по понедельникам». Он записал. У него всё было записано. Даже то, что люди говорили просто так.

Андрей закрыл глаза. Он помнил. Не полностью, но помнил. Коридор больницы, отец в пальто, в руке пакет с лекарствами, Андрей торопится на работу, Света тогда ещё ждёт его в машине. Отец говорит: «Не надо меня провожать». Андрей, уже почти уходя, бросает: «Я буду заезжать по понедельникам». Лёгкая фраза. Дешёвая. Как монетка в фонтан: бросил — и вроде сделал что-то романтическое. А человек потом сидел у окна.

— Я забыл, — сказал Андрей.

— Он нет.

Лучше бы она ударила его этой чашкой.

Он поставил чай на стол и поднялся.

— Мне надо идти.

— Куда?

— К врачу.

— Вот и хорошо. А то вы выглядите так, будто вас вчера собрали из трёх разных мужчин и ни один не подошёл.

— Спасибо за чай.

— Андрей.

Он остановился у двери.

— Что?

— Ваша мать звонила мне утром.

Он медленно повернулся.

— Что?

— Спрашивала, были ли вы в квартире. Я сказала, что были.

— Зачем она вам звонит?

— Потому что у неё тоже страх вместо языка. Она не умеет просто спросить: «Сын, ты жив? Ты мне нужен». Ей проще устроить дознание.

— Вы и её будете защищать?

— Я никого не защищаю. Я старый человек, мне лень воевать за чужие иллюзии. Я вам просто говорю: у вас в семье все боятся, только каждый назвал это по-своему. Ваш отец

— порядком. Мать — заботой. Вы — усталостью.

Андрей хотел ответить, но не нашёл слов. Они все лежали где-то в нём, как инструменты в отцовском ящике: ржавые, перепутанные, не по размеру.

— И ещё, — сказала Раиса Аркадьевна. — Не ищите сразу большого смысла. Большой смысл — это когда человек не хочет мыть посуду.

— Вы всегда так разговариваете?

— Нет. Иногда я сплю.

Он вышел от неё с ощущением, что побывал не в соседской квартире, а в каком-то незаконном отделении психиатрии, где вместо таблеток дают чай и правду без сахара.

В поликлинике было много людей, которые выглядели более убедительно больными, чем Андрей. Это его раздражало. Он пришёл со своей почти смертью, со своим онемением, со своей тетрадью, а тут сидел дед с лицом древнего полководца, женщина с перевязанной рукой, парень, кашляющий так, будто внутри у него сдавали дом под снос, и полная дама в леопардовой кофте, которая громко рассказывала по телефону, что «все врачи только деньги выкачивают, но анализы я всё равно сдам, мало ли». Андрей сразу почувствовал себя самозванцем. Паническая атака — это вообще унижительная болезнь. С инфарктом тебя хотя бы кладут на каталку, вокруг бегают люди, аппараты пищат, все понимают: событие. А паническая атака выглядит так, будто душа устроила истерику в ванной и теперь ты должен объяснять взрослым лю-

дям, почему не смог просто подышать нормально.

Врач оказалась женщиной лет пятидесяти с короткой стрижкой, сухими руками и глазами человека, который за день видел столько чужих тревог, что научился отличать настоящую беду от плохого театра, но сочувствие пока не выбросил. На бейдже было написано: «Елена Михайловна Кравцова».

— Жалобы? — спросила она.

— Если кратко — я думал, что умираю.

— Это не жалоба. Это вывод. Жалобы?

Андрей невольно улыбнулся.

— Ночью онемела левая рука, сердце колотилось, было трудно дышать, сухость во рту, страх, что сейчас всё.

— Давление измеряли?

— Нет.

— Пульс?

— Нет.

— Скорую вызывали?

— Нет.

— Зато в интернете читали?

Он посмотрел на неё с уважением.

— Да.

— Что нашли?

— Инфаркт, инсульт, остеохондроз, банан и сосед умер. Елена Михайловна кивнула.

— Классика. Сосед всегда умирает первым.

Она измерила давление, послушала сердце, задала вопросы: сон, работа, кофе, алкоголь, нагрузки, семейные заболевания. Андрей отвечал сначала шутками, потом короче, потом почти честно. Про кофе сказал не всё. Про работу сказал «стресс». Про отца сказал: «умер». Про развод сказал: «год назад». Про тетрадь не сказал. Даже он понимал, что фраза «доктор, мне пишет понедельник» может испортить направление беседы.

— Похоже на паническую атаку, — сказала врач, записывая что-то в карту. — Но обследования всё равно сделаем. Сердце, щитовидка, кровь, давление в динамике. Организм не резиновый.

— Мне вчера уже говорили.

— Значит, повторю. Вы, мужчины, иногда слышите только с третьего удара головой об пол.

— Я не то чтобы мужчина, — сказал Андрей. — Я скорее уставший документ.

Елена Михайловна подняла глаза.

— А вот это уже ближе к диагнозу.

Он усмехнулся, но она не улыбнулась. Не потому что не поняла, а потому что не собиралась давать ему спрятаться за смешной фразой.

— Вы давно нормально спали?

— Что считать нормально?

— Когда просыпаетесь не с желанием отменить день.

Андрей задумался.

— Не помню.

— Когда последний раз гуляли просто так?

— Я хожу до такси.

— Великое путешествие.

— До метро ещё.

— Не хвастайтесь.

Он вдруг почувствовал, что ему хочется говорить с этой женщиной больше, чем положено на приёме. Может, потому что она не была ни матерью, ни бывшей женой, ни начальником, ни мёртвым отцом, ни тетрадью. Её не надо было спасать, впечатлять, обижать или бояться. Она просто сидела напротив и измеряла его развалины медицинским тоном.

— У меня такое чувство, — сказал Андрей, — что я всё время живу в состоянии «потом». Как будто сейчас не настоящая жизнь, а черновик. И я всё жду, когда появится нормальная версия.

Елена Михайловна дописала строку, закрыла ручку.

— А черновик кто пишет?

— В смысле?

— Вы говорите, будто вашу жизнь кто-то держит в редакции и не выпускает в печать.

Андрей посмотрел на неё. Врачи, старушки, тетради — все сегодня решили устроить день открытых дверей в его трусости.

— Наверное, я.

— Наверное?

— Я.

— Вот. Уже медицинский прогресс.

Она выписала направления, листок с рекомендациями, велела вести дневник давления, меньше кофе, больше ходить, не читать ночью форумы, записаться к психотерапевту, сдать анализы и не геройствовать.

— И ещё, — сказала она, когда Андрей уже вставал. — Паническая атака не убивает. Но образ жизни, который к ней приводит, иногда очень старается.

— Утешили.

— Я не утешаю. Утешают родственники. Я предупреждаю.

Он вышел из кабинета с ворохом бумаг и странным чувством, что получил не диагноз, а официальное разрешение перестать притворяться железным. Бумажка с анализами выглядела серьёзнее его внутренних обещаний. Там были даты, кабинеты, подписи. Никакого «с понедельника». Просто: кровь — завтра утром, кардиограмма — четверг, мониторинг давления — записаться. Жизнь, оказывается, умела становиться конкретной, когда в ней появлялась печать.

На улице он не вызвал такси. Постоял у входа в поликлинику, посмотрел на мокрый тротуар, на аптеку через дорогу, на женщину, которая пыталась открыть зонт против ветра, и пошёл пешком. Не потому что стал новым человеком. Просто слова врача застряли в нём, а ещё он боялся садиться в машину и снова читать сообщения. Пешком хотя бы тело

было занято ногами.

Через десять минут он понял, что ненавидит ходьбу. На улице было сыро, ботинки натирали, под курткой стало жарко, мимо пролетали машины, люди обгоняли его с лицами победителей районного уровня. Он шёл и думал, что все эти советы «просто прогуляйтесь» придумали люди, у которых нет внутреннего комитета по самоуничтожению. У Андрея такой комитет был. Он заседал постоянно. Сейчас комитет обсуждал: зачем ты идёшь, куда ты идёшь, ты выглядишь глупо, у тебя плохая осанка, ты стареешь, ты провалил работу, отец ждал тебя по понедельникам, Света права, мать обиделась, Роман Игоревич напишет гадость, тетрадь считает тебя тупым, а ещё ты забыл купить туалетную бумагу.

Он остановился у витрины хозяйственного магазина. В отражении был мужчина с бумажным пакетом медицинских направлений, помятым лицом и походкой человека, который вышел из собственной жизни без карты. Ничего героического. Ни света. Ни музыки. Просто мокрый тротуар и витрина с швабрами.

Телефон завибрировал.

Роман Игоревич: «Завтра в 9:00 обсудим вашу дальнейшую роль в проекте».

Андрей прочитал. Внутри привычно упало. Потом поднялось. Потом снова упало, но уже без прежнего размаха. «Дальнейшая роль» — красивая офисная фраза. На человеческом языке: «Мы решим, насколько ты нам ещё нужен и

в каком виде тебя удобнее списать». Раньше он бы сразу начал сочинять большое письмо: извинения, объяснения, обещание всё исправить, готовность работать ночью, благодарность за понимание, которого никто не давал. Сейчас пальцы тоже пошли по старой дороге. Он даже набрал: «Роман Игоревич, понимаю, вчера и сегодня вышло неудачно, но...» Потом остановился.

Тетрадная фраза всплыла в голове неприятно чётко.

Понедельник — это не день. Это поступок.

— Да пошёл ты, — сказал Андрей вслух.

Проходя с пакетом посмотрела на него с осторожностью.

— Не вы, — сказал он ей.

Она ускорила.

Он стёр длинное сообщение и написал: «Буду».

Один глагол. Четыре буквы. Ни одного извинения. Это было почти неприлично. Андрей почувствовал не победу, нет. Скорее слабость в коленях, как после маленького преступления. Он засунул телефон в карман и пошёл дальше. Организм, может, и не был резиновым, но старые привычки в нём тянулись прекрасно.

В квартиру отца он вернулся уже под вечер. В подъезде пахло жареной рыбой и мокрой газетой. На двери Раисы Аркадьевны висела записка: «Кошку не выпускать. Она артистка». Андрей почему-то улыбнулся. У отца на двери никогда не было записок. Только номер. Сухой, металлический, без просьб к миру.

В квартире номер 47 стало темнеть. Андрей включил настольную лампу, и комната сразу уменьшилась до круга света: стол, тетрадь, письмо, документы, пыль. Всё остальное ушло в тень, будто вещи тоже устали притворяться важными.

Он решил сделать хоть что-то конкретное. Не духовное. Не великое. Документы. Ирина Павловна сказала искать дополнительное соглашение. Значит, он будет искать дополнительное соглашение. Бумага против мистики. Прекрасный бой.

Он разобрал верхний ящик. Потом нижний. Потом полку с книгами. Внутри старого словаря нашёл тысячу рублей, засушенный лист и фотографию себя лет десяти. На фотографии он стоял возле школы в огромной куртке и держал букет гладиолусов. Лицо у него было такое серьёзное, будто он уже тогда подозревал: дальше будет не очень. На обороте отцовским почерком было написано: «Первый раз сам пошёл. Не обернулся».

Андрей сел на пол. Не обернулся. Он помнил этот день иначе. Он помнил, что отец довёл его до школьного двора, сказал «иди», а сам остался у ворот. Андрей шёл и страшно хотел обернуться. Просто не обернулся, потому что боялся, что отец увидит страх. А отец записал это как силу. Два человека прожили один и тот же момент и оба ошиблись.

В шкафу под стопкой старых полотенец он нашёл жестяную коробку из-под печенья. На крышке были нарисованы датские домики, покрытые снегом. Отец никогда не ел дат-

ское печенье. Скорее всего, коробку подарили с печеньем лет пятнадцать назад, печенье давно исчезло, а коробка стала бессмертной. В ней лежали четыре конверта, перевязанные банковской резинкой. На каждом — отцовский почерк.

Понедельник первый.

Понедельник второй.

Понедельник третий.

Понедельник четвёртый.

Сердце у Андрея сделало то самое неприятное движение, за которое уже можно было брать деньги с кардиолога. Он сел прямо на пол, среди полотенец, коробки и запаха старого шкафа. Взял первый конверт. Бумага была плотная, пожелтевшая по краям, будто отец специально выбирал нечто более значительное, чем обычный лист. На конверте ниже была дописана строка:

Если Андрей всё-таки пришёл.

— Ну пришёл, — сказал Андрей. — Доволен?

Квартира не ответила. Тетрадь молчала в комнате, но теперь её молчание стало почти присутствием. Как человек, который сидит за стеной и слушает, не кашляя.

Он вскрыл первый конверт. Внутри был лист и маленький ключик, приклеенный скотчем. Ключик был плоский, серый, не от квартиры, не от почтового ящика. Андрей снял его и положил на ладонь.

Письмо начиналось без обращения.

«Если ты читаешь это, значит, я опять сделал всё не во-

время. Это неприятно признавать даже мёртвым, но у мёртвых хотя бы меньше вариантов увильнуть».

Андрей усмехнулся. Отец после смерти становился разговорчивее. При жизни из него три слова приходилось доставать ломом, теперь он писал почти как человек.

«Я не знаю, как правильно разговаривать с сыном. Когда ты был маленький, мне казалось, что если я буду строгим, ты вырастешь сильным. Теперь думаю, что я просто не умел быть мягким и назвал это воспитанием. Так люди часто делают: берут свой страх, надевают на него приличное слово и ходят гордые».

Андрей остановился. Перечитал. «Берут свой страх, надевают на него приличное слово». Это уже было слишком. Отец не говорил так. Не мог. Или мог, но не при нём. Может, все люди после смерти получают литературного редактора.

«Я оставил четыре конверта. Не потому, что я мудрый. Мудрые люди говорят вовремя. Я не из них. Просто перед смертью у человека появляется много свободного вечера и мало способов не сойти с ума. Не открывай всё сразу. Ты, конечно, откроешь, потому что Лаптевы плохо слушают просьбы, но я всё равно напишу: не открывай всё сразу».

Андрей тут же посмотрел на остальные конверты. Рука дёрнулась. Отец был прав, и от этого хотелось открыть все три назло. Он даже взял второй, подержал, потом бросил обратно в коробку. Не из послушания. Из страха, что если открыть всё сразу, там окажется слишком много мёртвого отца

для одного вечера.

Он продолжил читать.

«Первое дело простое. Выброси мою серую куртку из прихожей. Да, ту самую. Не храни её как музейный экспонат моей неспособности уйти. В левом внутреннем кармане есть ещё один лист. Прочитай после того, как вынесешь куртку из квартиры. Не раньше. Если прочитаешь раньше — значит, ты опять решил, что мысль заменяет поступок. Она не заменяет».

Андрей опустил лист. Посмотрел в прихожую. Серая куртка лежала на стуле после того, как он поднял её с пола. Обычная куртка. Ткань на локтях потёрта. Молния немного заедает. Воротник залоснен. На плече маленькое пятно, наверное, от дождя или старого супа. Никакой святыни. Просто вещь мёртвого человека. И почему-то вынести её казалось тяжелее, чем разгрести долги, поговорить с юристом, сходить к врачу и ответить Роману Игоревичу одним словом.

Он разозлился.

— Ну конечно, — сказал он. — Даже с того света командуешь, что мне выбрасывать.

Он сложил письмо, положил на стол. Потом снова взял. Перечитал последнее предложение. «Мысль не заменяет поступок». Это было похоже на тетрадь. Или тетрадь была похожа на отца. Или отец на тетрадь. Или всё это было одной большой посмертной схемой, где его, Андрея, наконец решили дожать до какого-то действия, потому что мягко он не

понимал.

Он подошёл к куртке. Снял её со спинки стула. Куртка была тяжёлая, пахла отцом: пыль, табак, лекарства, улица, старая мужская усталость. Андрей прижал её к себе, сам не понимая зачем. И тут запах ударил так сильно, что он вдруг оказался не в этой квартире, а в детстве. Зима. Ему семь. Отец пришёл с работы, куртка холодная, на рукаве снег, Андрей лезет к нему в прихожей, хочет показать рисунок — дом, труба, кривое солнце. Отец снимает ботинки и говорит: «Потом, Андрюш. Я устал». Не зло. Не жестоко. Просто устал. А ребёнок стоит с рисунком и учится первому великому закону семьи: любовь можно отложить, если взрослый человек устал.

Андрей стоял с курткой и чувствовал, как этот маленький мальчик внутри него снова держит рисунок. Дурацкий дом. Кривая труба. Солнце размером с тарелку. «Потом, Андрюш».

— Ненавижу тебя, — сказал Андрей тихо.

Куртка молчала.

— И скучаю, — добавил он ещё тише. — Что тоже бесит.

Он нашёл в кладовке большой мусорный пакет. Слишком тонкий, конечно. Всё в этой квартире было либо старым, либо тонким, либо требовало ремонта. Засунул куртку в пакет. Она не влезала. Рукав торчал наружу, как последняя попытка передумать. Андрей запихнул его грубо. Завязал пакет. Потом развязал. Проверил карманы, потому что отец

написал про внутренний лист. Лист был там, но он вспомнил условие: прочитать после того, как вынесет из квартиры. Внутренний комитет немедленно начал заседание: какая разница, вынесешь через минуту, прочитай сейчас, ты же всё равно вынесешь, это формальность. Андрей почти поддался. Уже развернул край бумаги. Потом выругался, засунул обратно, завязал пакет так туго, будто душил не куртку, а собственную привычку торговаться с каждым простым действием.

Пакет он тащил до мусорных баков обеими руками. В лифте с ним ехал мальчик лет двенадцати с самокатом. Мальчик посмотрел на пакет, потом на Андрея.

— Там труп? — спросил мальчик.

— Почти, — сказал Андрей.

Мальчик уважительно кивнул и вышел на третьем этаже.

Во дворе было темно. Фонарь мигал. У мусорных баков пахло мокрым картоном, кожурой, окурками и чужими ужинами. Андрей поставил пакет рядом с баком. Не смог сразу бросить внутрь. Стоял и смотрел. В голове крутилась идиотская мысль: а вдруг так нельзя? Вдруг вещи мёртвых нельзя выбрасывать вечером? Вдруг надо было отдать, постирать, оставить, сжечь, похоронить, спросить мать, спросить Раису, спросить Бога с плохим почерком? Вдруг он сейчас совершает не поступок, а предательство?

— Это просто куртка, — сказал он.

Но это была не просто куртка. Простых курток не бывает,

если в них кто-то возвращался домой, молчал, носил хлеб, забывал сказать сыну важное, держал руки в карманах вместо того, чтобы обнять.

Андрей поднял пакет и бросил в бак.

Глухой звук. Всё. Никакой молнии. Никакого освобождения. Только мусорный бак принял ещё одну человеческую святыню и даже не поморщился.

Он стоял ещё минуту. Потом достал из кармана тот самый лист, который успел вытащить из внутреннего кармана куртки перед тем, как завязать пакет. Руки мёрзли. Бумага дрожала. Он развернул её под фонарём.

Там была одна фраза.

«Теперь вернись домой и выброси свою».

Андрей не сразу понял. Свою что? Куртку? Старую жизнь? Привычку? Жалость? Дом? Он перечитал ещё раз, злясь на мёртвого отца за эту театральность. Потом заметил ниже маленькую приписку, почти на краю листа:

«Начни с той вещи, которую каждый день обходишь и делаешь вид, что не видишь».

Он медленно опустил руку.

Перед глазами сразу возникла его собственная квартира. Кружка возле кровати. Скомканный фитнес-буклет на тумбочке. Пятно на потолке. Неразобранная коробка Светы в углу. Пакет с бумагами, который он три месяца переставлял из комнаты в комнату. Стул, на котором лежала одежда, уже ставшая отдельным жильцом. Всё, что он обходил. Всё, во-

круг чего научился жить.

Телефон завибрировал. Андрей достал его, ожидая Романа Игоревича, мать, Свету, Ирину Павловну, стоматологию, смерть, кого угодно.

Сообщение было без номера.

Видишь? Понедельник умеет начинаться у мусорного бака.

Глава 4. Кружка возле кровати

Андрей стоял у мусорного бака с листком в руке и чувствовал себя человеком, которому только что объяснили смысл жизни через отходы. Это было унижительно, но, как ни странно, убедительно. Всё важное в его жизни почему-то происходило не в красивых местах: не у моря, не в храме, не под звёздами, не в кабинете мудрого человека с деревянными полками, а возле мусорных баков, в офисном туалете, на полу собственной квартиры, в лифте с мальчиком, который спросил про труп. Возможно, так и должно быть. Возможно, Бог, если он действительно решил заняться Андреем Лаптевым, быстро понял, что через красоту к нему не пробиться. Андрей слишком привык откладывать красоту на потом. А вот мусор был всегда под рукой.

Видишь? Понедельник умеет начинаться у мусорного бака.

Сообщение без номера исчезло не сразу. Он успел сделать снимок экрана. На этот раз успел. Стоял, как идиот, посреди двора, с телефоном в одной руке и листком отца в другой, и ждал, что снимок тоже исчезнет, потому что реальность в последние дни вела себя как бухгалтер с плохим настроением: то выдаст документ, то заберёт, то скажет, что ничего не было. Но снимок остался. Фраза осталась. Белый текст на сером фоне. Доказательство. Правда, доказательство чего

— он не понимал. Сумасшествия? Божьей службы поддержки? Посмертного отцовского квеста? Или того, что человек, который не спит, плохо ест, боится работы, матери, бывшей жены, своего тела и собственной квартиры, рано или поздно начинает получать сообщения от понедельника, потому что живым людям уже надоело с ним разговаривать.

Он вернулся в квартиру отца, забрал документы, тетрадь, первый конверт и коробку с оставшимися тремя понедельниками. Сначала хотел оставить тетрадь на столе, будто это было опасное животное и лучше не везти его домой. Но потом представил, как ночью кто-то пишет в ней без него, как Раиса Аркадьевна утром заходит с пирожками, видит новую страницу, читает, крестится, потом зовёт его через стену: «Андрей, у вас тут опять Бог наследил». Нет, лучше уж пусть Бог следит у него дома. Там хотя бы он сам будет отвечать за беспорядок.

Раиса Аркадьевна ждала его у своей двери. Конечно, ждала. В халате, с кошкой на руках и лицом участкового инспектора от судьбы.

— Выбросили? — спросила она.

— Откуда вы знаете?

— У вас на лице написано. Мужчина, который вынес вещь покойного отца, выглядит как человек, который сдал экзамен, но подозревает, что преподаватель умер до проверки.

— Очень конкретная у вас система наблюдений.

— Я шестьдесят лет смотрю на людей в подъезде. Тут

можно диссертацию защитить без института.

Андрей показал ей листок.

Раиса Аркадьевна прочитала, поджала губы.

— Виктор Сергеевич умел, когда хотел.

— Когда умер, особенно.

— Не язвите. Мёртвые беззащитные.

— Да ну? По-моему, он сейчас руководит процессом лучше, чем при жизни.

— При жизни вы бы не послушали.

Андрей хотел ответить, но промолчал. Она была права. Это раздражало. Старые женщины вообще часто правы не потому, что мудрые, а потому что уже пережили возраст, в котором люди защищают свои глупости как диплом.

— Вы тетрадь забираете? — спросила она.

— Да.

— И правильно.

— А если я сойду с ума?

— Вы думаете, сейчас у вас всё так здраво, что есть что терять?

Кошка в её руках мяукнула так, будто подписала протокол.

— Спасибо, Раиса Аркадьевна. С вами очень поддерживающе.

— Поддержка — это не сахарная вата. Это иногда палка, которой вас отгоняют от ямы.

— Вы случайно не работали психологом?

— Я работала в ЖЭКе. Это выше.

Она ушла, оставив дверь приоткрытой на цепочке, словно не закрывала её не от страха, а из принципа: миру тоже надо дать шанс заглянуть.

Домой Андрей ехал на метро. Такси он не вызвал из жадности, из упрямства и из странного ощущения, что после мусорного бака нельзя сразу возвращаться в мягкое кресло. Надо немного пройти через людей. Через запах мокрой шерсти, чужих духов, дешёвого кофе, уставших лиц, мужика с огромным рюкзаком, который бил всех этим рюкзаком и делал вид, что у него за спиной не вещь, а отдельная страна. Андрей стоял у двери, прижимал к себе папку с документами и коробку с конвертами. Зелёная тетрадь лежала в пакете и казалась тяжёлой. Смешно: бумага весила больше, чем ноутбук, куртка, вина и вся офисная почта вместе взятая.

Напротив сидела девочка лет пяти с мамой. Девочка держала в руках маленький календарик, отрывной, с котятками. Она листала его, не понимая, что нельзя так обращаться со временем: быстро, весело, без уважения. Мать говорила по телефону: «Нет, в понедельник не могу. В понедельник у нас опять всё начинается». Андрей почти засмеялся. Вот он, разговор. Понедельник был не днём недели, а национальным наркотиком. Все его принимали в разных дозах. Одни — чтобы начать худеть. Другие — чтобы бросить пить. Третьи — чтобы позвонить врачу. Четвёртые — чтобы наконец развестись, помириться, уволиться, жить, умереть прилич-

но. Понедельник был богом трусливых людей. Удобным, далёким, вечно переносимым.

Дома его встретил запах. Свой запах Андрей обычно не замечал. Это один из подарков мозга: он защищает человека от знания, как именно пахнет его жизнь. Но после квартиры отца и квартиры Раисы Аркадьевны собственный дом ударил честно. Пыль, вчерашний кофе, мокрое полотенце, старая еда, пластик, немного сырости и что-то кислое, внутреннее, как дыхание человека, который давно не открывал окна не потому, что холодно, а потому что боится впустить свежий воздух и обнаружить, что проблема не в воздухе.

Он поставил папку и коробку на пол в прихожей. Включил свет. Лампочка мигнула, подумала и загорелась. На тумбочке всё ещё лежал скомканный фитнес-буклет: «Начни сегодня!» Мужчина с прессом улыбался из складки бумаги, как выживший после авиакатастрофы. Андрей взял буклет, разгладил. На обороте была акция: «Первый месяц бесплатно». Первый месяц. Ещё один календарный обман. Он уже покупал такие первые месяцы: спортзал, приложение для медитации, курс английского, блокнот продуктивности, подписку на здоровое питание, витамины, которые пахли болотом и надеждой. Первый месяц всегда был шикарным местом. Там человек ещё не успел провалиться. Там он ещё мог представить себя другим. Настоящая катастрофа начиналась во второй вторник.

Он скомкал буклет снова и бросил в мусорное ведро. Про-

махнулся. Бумажный комок ударился о край, отскочил и остался лежать на полу.

— Даже реклама не хочет, — сказал он.

Поднял и бросил уже точно. Маленькая победа. Неприлично маленькая. Но рука почему-то чуть дрожала.

Он прошёл в комнату. Вот она, вещь, которую он каждый день обходил и делал вид, что не видит. Точнее, не вещь. Их было так много, что квартира походила на выставку его поражений. На стуле у окна лежала гора одежды. Не просто одежда — геологический пласт. Нижние слои относились к эпохе «после стирки разложу», средние — к эпохе «ещё можно надеть», верхние — к позднему периоду «не трогай, оно само держится». На подоконнике стояли три чашки. На книжной полке лежали неоплаченные квитанции, которые он засунул между романом и справочником по налогам, будто бумага, спрятанная среди книг, становилась культурнее. Возле кровати стояла кружка. Та самая. Не разбитая вчерашняя, а другая. Белая, с синей надписью «Лучший день — сегодня». В ней был чай. Или бывший чай. На поверхности плавала тонкая плёнка, как кожа у старого молока. Андрей смотрел на кружку, и она смотрела на него в ответ. Если бы у кружек были глаза, эта была бы матерью.

Он обходил её четыре дня. Сначала поставил после ночной работы. Потом утром не убрал, потому что опаздывал. Вечером заметил, но был слишком уставший. На следующий день решил: сейчас нет смысла убирать одну кружку, надо

заодно всю комнату. Потом вся комната стала слишком большой задачей, и кружка получила гражданство. Он вставал с кровати, обходил её, ложился, снова обходил. Иногда даже двигал ногой осторожно, чтобы не задеть. Человек способен адаптироваться к чему угодно. К войне, браку без любви, работе с идиотом-начальником, кружке возле кровати.

Андрей поставил коробку с отцовскими конвертами на стол. Зелёную тетрадь рядом. Папку с документами бросил на кресло. Потом подошёл к кружке.

Она была отвратительная. Не драматически. Не так, чтобы от неё можно было снять фильм ужасов. Просто маленькая бытовая мерзость, которую человек сам себе разрешил. Он взял её двумя пальцами за ручку, будто это был медицинский материал. Донёс до кухни. Вылил содержимое в раковину. Комок старой заварки упал в слив с таким звуком, будто сказал: «Ну наконец-то, придурок». Андрей включил горячую воду. Вода сначала шла холодная, потом тёплая, потом почти горячая. Он помыл кружку. Одну. Тщательно. С губкой, средством, даже внутри ручки. Поставил сушиться.

И всё.

Никакого просветления. Никакого хора ангелов. Никакого тёплого света на кухне. Только чистая кружка и мокрые руки.

Он прислонился к раковине и вдруг почувствовал злость. На то, как мало это значит. На то, как много это значит. На то, что человеку приходится начинать жизнь с кружки, пото-

му что на большее у него нет внутренней валюты. Он хотел великих перемен, чтобы красиво, чтобы сразу: новая работа, новое тело, новое утро, новая любовь, новый Андрей Лаптев в белой рубашке идёт по набережной и не боится банковских уведомлений. А жизнь сказала: вот тебе губка, мой старый мальчик. Сначала отмой чай.

Телефон зазвонил. Мать.

Он посмотрел на экран. Внутри привычно сжалось. Он не хотел брать. Потом подумал, что «не брать» и «поставить границу» — разные вещи. Он пока умел только исчезать, а потом называть это самосохранением.

Взял.

— Ты почему бросил трубку утром? — спросила мать.

Ни «привет». Ни «как врач». Ни «ты жив». Сразу обвинение. Экономно, по-семейному.

— Потому что разговор шёл туда, куда всегда, — сказал Андрей.

— Куда это?

— В яму.

— Яма — это когда мать беспокоится о сыне?

Он закрыл глаза. В раковине стекала вода с чистой кружки. Он сосредоточился на ней, как на святом предмете. Кружка справилась. Кружка прошла через грязь и не начала спорить.

— Мам, я не могу сейчас долго говорить.

— Конечно. Со мной ты никогда не можешь. А когда тебе

что-то нужно, тогда вспоминаешь.

— Мне от тебя сейчас ничего не нужно.

— Вот видишь, как ты разговариваешь.

Старый сценарий открылся сам. Реплики лежали на своих местах, как тапки отца у двери. Он должен был сказать: «Я не это имел в виду». Она должна была сказать: «Ты всегда всё имеешь в виду». Он должен был извиниться. Она — тяжело вздохнуть. Потом он полчаса слушал бы про давление, соседку, цены, отца, свою неблагодарность и то, что дети сейчас все такие. В конце он почувствовал бы себя пустым и злым, пошёл бы есть что-нибудь холодное из холодильника, потом лёг бы с телефоном и решил, что новую жизнь начнёт с понедельника.

Он знал этот маршрут до каждого поворота.

— Мам, — сказал он. — Я был у врача. Мне нужно обследоваться. Ничего смертельного пока не нашли. Но мне нужно меньше нервничать. Поэтому я сейчас закончу разговор.

Тишина.

— То есть это я тебя нервирую?

Конечно.

— Сейчас — да.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.